

A still life painting in a soft, painterly style. The background is a textured wash of pink and red. In the center, a clear glass is filled with water. To its right is a bright yellow lemon. Further right is a green apple with a brown stem. In the foreground, there are several pieces of aged, yellowed paper with faint, illegible handwriting. A dark blue book or folder is partially visible in the upper left corner.

КОНСТАНТИН  
**ПАУСТОВСКИЙ**

*Повесть о жизни*

*Книги I-III*

АЗБУКА-КЛАССИКА

# Константин Паустовский

## Повесть о жизни. Книги I–III

### Серия «Азбука-классика»

*Текст предоставлен правообладателем*

*<https://litres.ru/68809788>*

*Повесть о жизни. Кн. 1–3 / Константин Паустовский: Санкт-*

*Петербург;*

*ISBN 978-5-389-22554-1*

### **Аннотация**

Константин Паустовский – выдающийся русский писатель, чьи романы, повести, рассказы и очерки по праву считаются классикой отечественной литературы XX века и неоднократно переводились на многие языки мира, автор замечательной лирико-автобиографической прозы, исполненной любви к русской природе и русской культуре. Для советских читателей Паустовский – это олицетворение человеческого и писательского благородства, совесть эпохи. Он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию в области литературы, и только по политическим причинам не получил эту почетную награду.

Над «Повестью о жизни», одним из главных своих произведений, Паустовский работал 18 лет. По словам Константина Кедрова, «в первых главах „Повести о жизни“ Бунин угадал возрождение русской литературы». Перед нами проходит жизнь писателя – с детских лет и до того времени, когда он

осознает свой литературный успех. Автобиографизм, интимно-личное соединяются здесь с историческим и общезначимым, размышления о прошлом – с днем сегодняшним.

В настоящем издании публикуются первые три из шести книг «Повести о жизни».

# Содержание

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Несколько слов                    | 6   |
| Книга первая                      | 8   |
| Смерть отца                       | 8   |
| Дедушка мой Максим Григорьевич    | 19  |
| Караси                            | 29  |
| Плеврит                           | 36  |
| Поездка в Ченстохов               | 41  |
| Розовые олеандры                  | 51  |
| Шарики из бузины                  | 65  |
| Святославская улица               | 77  |
| Зимние зрелища                    | 88  |
| Гардемарин                        | 100 |
| Как выглядит рай                  | 107 |
| Брянские леса                     | 115 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 119 |

# **Константин Паустовский**

## **Повесть о жизни**

### **Книги I–III**

© К. Г. Паустовский (наследник), 2022

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Ат-тикус“», 2022

Издательство азбука®

Оформление обложки Валерия Гореликова

\* \* \*

## Несколько слов

Недавно я перелистывал собрание сочинений Томаса Манна и в одной из его статей о писательском труде прочел такие слова:

«Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе, и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим, мы создали нечто сверхличное... Вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве».

Эти слова следовало бы поставить эпиграфом к большинству автобиографических книг.

Писатель, выражая себя, тем самым выражает и свою эпоху. Это – простой и неопровержимый закон.

В книге помещено шесть автобиографических повестей: «Далекие годы», «Беспокойная юность», «Начало неведомого века», «Время больших ожиданий», «Бросок на юг» и «Книга скитаний». Все они связаны общим героем и общностью времени. Повести эти относятся к последним годам XIX века и к первым десятилетиям века нынешнего.

Для всех книг, в особенности для книг автобиографических, есть одно святое правило – их следует писать только до тех пор, пока автор может говорить правду.

По существу творчество каждого писателя есть вместе с тем и его автобиография, в той или иной мере преображен-

ная воображением. Так бывает почти всегда.

Итак, написано шесть автобиографических книг. Впереди я вижу еще несколько книг такого же рода, но удастся ли их написать – неизвестно.

Я хочу закончить это маленькое введение одной мыслью, которая давно не дает мне покоя.

Кроме подлинной своей биографии, где все послушно действительности, я хочу написать и вторую свою автобиографию, которую можно назвать вымышленной. В этой вымышленной автобиографии я бы изобразил свою жизнь среди тех удивительных событий и людей, о которых я постоянно и безуспешно мечтал.

Но независимо от того, что мне удастся написать в будущем, я бы хотел сейчас, чтобы читатели этих шести повестей испытали бы то же чувство, которое владело мной на протяжении всех прожитых лет, – чувство значительности нашего человеческого существования и глубокого очарования жизни.

*К. Паустовский*

# Книга первая

## Далекие годы

*Жизнь моя, иль ты приснилась мне?*  
*Сергей Есенин*

### Смерть отца

Я был гимназистом последнего класса киевской гимназии, когда пришла телеграмма, что в усадьбе Городище, около Белой Церкви, умирает мой отец.

На следующий день я приехал в Белую Церковь и остановился у старинного приятеля отца, начальника почтовой конторы Феоктистова. Это был длиннобородый близорукий старик в толстых очках, в потертой тужурке почтового ведомства со скрещенными медными рожками и молниями на петлицах.

Кончался март. Моросил дождь. Голые тополя стояли в тумане.

Феоктистов рассказал мне, что ночью пошел лед на бурной реке Рось. Усадьба, где умирал отец, стояла на острове среди этой реки, в двадцати верстах от Белой Церкви. В усадьбу вела через реку каменная плотина – гребля.

Полая вода идет сейчас через греблю валом, и никто, конечно, не согласится переправить меня на остров, даже самый отчаянный балагула – извозчик.

Феоктистов долго соображал, кто же из белоцерковских извозчиков самый отчаянный. В полутемной гостиной дочь Феоктистова, гимназистка Зина, старательно играла на рояле. От музыки дрожали листья фикусов. Я смотрел на бледный, выжатый ломтик лимона на блюдечке и молчал.

– Ну что ж, позовем Брегмана, отпетого старика, – решил наконец Феоктистов. – Ему сам черт не брат.

Вскоре в кабинет Феоктистова, заваленный томами «Нивы» в тисненых золотом переплетах, вошел извозчик Брегман – «самый отпетый старик» в Белой Церкви. Это был плотный карлик-еврей с редкой бородкой и голубыми кошачьими глазами. Обветренные его щечки краснели, как райские яблоки. Он вертел в руке маленький кнут и насмешливо слушал Феоктистова.

– Ой, несчастье! – сказал он наконец фальцетом. – Ой, беда, пане Феоктистов! У меня файтон легкий, а кони слабые. Цыганские кони! Они не перетянут нас через греблю. Утопятся и кони, и файтон, и молодой человек, и старый балагула. И никто даже не напечатает про эту смерть в «Киевской мысли». Вот что мне невыносимо, пане Феоктистов. А поехать, конечно, можно. Отчего не поехать? Вы же сами знаете, что жизнь балагулы стоит всего три карбованца, – я не побожусь, что пять или, положим, десять.

– Спасибо, Брегман, – сказал Феоктистов. – Я знал, что вы согласитесь. Вы же самый храбрый человек в Белой Церкви. За это я вам выпишу «Ниву» до конца года.

– Ну уж если я такой храбрый, – пропищал, усмехаясь, Брегман, – так вы мне лучше выпишите «Русский инвалид». Там я, по крайности, почитаю про кантонистов и георгиевских кавалеров. Через час кони будут у крыльца, пане.

Брегман ушел.

В телеграмме, полученной мною в Киеве, была странная фраза: «Привези из Белой Церкви священника или ксендза – все равно кого, лишь бы согласился ехать».

Я знал отца, и потому эта фраза тревожила меня и смущала. Отец был атеист. У него происходили вечные столкновения из-за насмешек над ксендзами и священниками с моей бабкой, полькой, фанатичной, как почти все польские женщины.

Я догадался, что на приезде священника настояла сестра моего отца, Феодосия Максимовна, или, как все ее звали, тетюшка Дозя.

Она отрицала все церковные обряды, кроме отпущения грехов. Библию ей заменял спрятанный в окованном сундуке «Кобзарь» Шевченко, такой же пожелтевший и закапанный воском, как Библия. Тетюшка Дозя доставала его изредка по ночам, читала при свече «Катерину» и поминутно вытирала темным платком глаза.

Она оплакивала судьбу Катерины, похожую на свою собственную. В сырой роще-леваде за хатой зеленела могила ее сына, «малесенького хлопчика», умершего много лет назад, когда тетушка Дозя была еще совсем молодой. Этот хлопчик был, как тогда говорили, «незаконным» ее сыном.

Любимый человек обманул тетушку Дозю. Он бросил ее, но она была ему верна до смерти и все ждала, что он возвратится к ней, почему-то непременно больной, нищий, обиженный жизнью, и она, отругав его как следует, приютит наконец и пригреет.

Никто из священников не согласился ехать в Городище, отговариваясь болезнями и делами. Согласился только молодой ксендз. Он предупредил меня, что мы заедем в костел за святыми дарами для причащения умирающего и что с человеком, который везет святыне дары, нельзя разговаривать.

На ксендзе было черное длиннополое пальто с бархатным воротником и странная, тоже черная, круглая шляпа.

В костеле было сумрачно, холодно. Поникнув, висели у подножия распятия очень красные бумажные розы. Без свечей, без звона колокольчиков, без органных раскатов костел напоминал театральные кулисы при скучном дневном освещении.

Сначала мы ехали молча. Только Брегман чмокал и понукал костлявых гнедых лошадей. Он покрикивал на них, как кричат все балагулы: не «но», а «вьё!». Дождь шумел в низ-

ких садах. Ксендз держал завернутую в черную саржу дароносицу. Моя серая гимназическая шинель промокла и почернела.

В дыму дождя подымались, казалось – до самого неба, знаменитые Александрийские сады графини Браницкой. Это были обширные сады, равные по величине, как говорил мне Феоктистов, Версалю. В них таял снег, заволакивая холодным паром деревья. Брегман, обернувшись, сказал, что в этих садах водятся дикие олени.

– Эти сады очень любил Мицкевич, – сказал я ксендзу, забыв, что он должен молчать всю дорогу.

Мне хотелось сказать ему что-нибудь приятное в благодарность за то, что он согласился на эту трудную и опасную поездку. Ксендз улыбнулся в ответ.

В раскисших полях стояла дождевая вода. В ней отражались пролетавшие галки. Я поднял воротник шинели и думал об отце, о том, как мало я его знал. Он был статистиком и прослужил почти всю жизнь на разных железных дорогах – Московско-Брестской, Петербургско-Варшавской, Харьковско-Севастопольской и Юго-Западной.

Мы часто переезжали из города в город – из Москвы в Псков, потом в Вильно, потом в Киев. Всюду отец не уживался с начальством. Он был очень самолюбивый, горячий и добрый человек.

Год назад отец уехал из Киева и поступил статистиком на Брянский завод в Орловской губернии. Прослужив недол-

го, отец неожиданно, без всякой видимой причины, бросил службу и уехал в старую дедовскую усадьбу Городище. Там жили его брат Илько, сельский учитель, и тетушка Дозя.

Необъяснимый поступок отца смутил всех родственников, но больше всего мою мать. Она жила в то время с моим старшим братом в Москве.

Через месяц после приезда в Городище отец заболел и вот теперь умирает.

Дорога пошла вниз по оврагу. В конце его был слышен настойчивый шум воды. Брегман заерзал на козлах.

– Гребля! – сказал он упавшим голосом. – Теперь молитесь богу, пассажиры!

Гребля открылась внезапно за поворотом. Ксендз встал и схватил Брегмана за красный вылинявший кушак.

Вода легко неслась, зажатая гранитными скалами. В этом месте река Рось прорывалась, беснуясь, через Авратынские горы. Вода шла через каменную плотину прозрачным валом, с грохотом падала вниз и моросила холодной пылью.

За рекой, по ту сторону гребли, как бы взлетали к небу огромные тополя и белел маленький дом. Я узнал усадьбу на острове, где жил в раннем детстве, – ее левады и плетни, коромысла колодцев-журавлей и скалы у берега. Они разрезали речную воду на отдельные могучие потоки. С этих скал мы когда-то с отцом ловили усатых пескарей.

Брегман остановил коней около гребли, слез, поправил кнутовищем сбрую, недоверчиво осмотрел свой экипаж и

покачал головой. Тогда впервые ксендз нарушил обет молчания.

– Езус-Мария! – сказал он тихим голосом. – Как же мы переедем?

– Э-э! – ответил Брегман. – Откуда я знаю как? Сидите спокойно. Потому что кони уже трясутся.

Гнедые лошади, задрав морды, храпя, вошли в стремительную воду. Она ревела и сбивала легкую коляску к неогороженному краю гребли. Коляска шла боком, косо, скрежетала железными шинами. Лошади дрожали, упирались, почти ложились на воду, чтобы она не сбила их с ног. Брегман вертел кнутом над головой.

Посередине гребли, где вода шла сильнее всего и даже звенела, лошади остановились. Пенистые водопады бились около их тонких ног. Брегман закричал плачущим голосом и начал немилосердно хлестать лошадей. Они попятнулись и сдвинули коляску к самому краю гребли.

Тогда я увидел дядю Илько. Он скакал на серой лошади от усадьбы к гребле. Он что-то кричал и размахивал над головой связкой тонкого каната.

Он въехал на греблю и швырнул Брегману канат. Брегман торопливо привязал его где-то под козлами, и трое коней – два гнедых и серый – выволокли наконец коляску на остров.

Ксендз перекрестился широким католическим крестом. Брегман подмигнул дяде Илько и сказал, что долго еще люди будут помнить такого балагулу, как старый Брегман, а я

спросил, как отец.

– Еще жив, – ответил Илько и поцеловал меня, исцарапав бородой. – Ждет. А где мама – Мария Григорьевна?

– Я послал ей телеграмму в Москву. Должно быть, приедет завтра.

Дядя Илько посмотрел на реку.

– Прибывает, – сказал он. – Плохо, милый мой Костик. Ну, может быть, пронесет. Пойдемте!

На крыльце нас встретила тетушка Дозя, вся в черном, с сухими, заплаканными глазами.

В душных комнатах пахло мятой. Я не сразу узнал отца в желтом старике, заросшем серой щетиной. Отцу было всего пятьдесят лет. Я всегда помнил его немного сутулым, но стройным, изящным, темноволосым, с необыкновенной его печальной улыбкой и серыми внимательными глазами.

Сейчас он сидел в кресле, трудно дышал, смотрел не отрываясь на меня, и по сухой его щеке сползла слеза. Она застряла в бороде, и тетушка Дозя вытерла ее чистым платком.

Отец не мог говорить. Он умирал от рака гортани.

Всю ночь я просидел около отца. Все спали. Дождь кончился. Звезды угрюмо горели за окнами. Все громче шумела река. Вода быстро подымалась. Брегман с ксендзом не смогли переправиться обратно и застряли на острове.

Среди ночи отец зашевелился, открыл глаза. Я наклонился к нему. Он попытался обнять меня за шею, но не смог и сказал свистящим шепотом:

– Боюсь... погубит тебя... бесхарактерность.

– Нет, – тихо возразил я. – Этого не будет.

– Маму увидишь, – прошептал отец. – Я виноват перед ней... Пусть простит...

Он замолчал и слабо стиснул мою руку.

Я не понял тогда его слов, и только гораздо позже, через много лет, мне стало ясно их горькое значение. Также намного позже я понял, что мой отец был по существу совсем не статистиком, а поэтом.

На рассвете он умер, но я не сразу об этом догадался. Мне показалось, что он спокойно уснул.

На острове у нас жил старый дед Нечипор. Его позвали читать над отцом псалтырь.

Нечипор часто прерывал чтение, чтобы выйти в сени покурить махорку. Там он шепотом рассказывал мне незамысловатые истории, потрясшие его воображение: о бутылке вина, выпитой им прошлым летом в Белой Церкви, о том, что он видел под Плевной самого Скобелева так близко, «як до того плетня», и об удивительной американской веялке, работающей от громоотвода. Дед Нечипор был, как говорили на острове, «легкий человек» – враль и болтун.

Он читал псалтырь весь день и всю следующую ночь, отщипывая черными ногтями нагар со свечи, засыпал стоя, всхрапывал и, очнувшись, снова бормотал невнятные молитвы.

Ночью на другом берегу реки кто-то начал махать фона-

рем и протяжно кричать. Я вышел с дядей Илько на берег. Река ревела. Вода шла через греблю холодным водопадом. Ночь стояла поздняя, глухая, ни единой звезды не было над головой. В лицо дуло дикой свежестью разлива, оттаявшей земли. И все время кто-то махал на том берегу фонарем и кричал, но слов за шумом реки нельзя было разобрать.

– Должно быть, мама, – сказал я дяде Илько.

Но он мне ничего не ответил.

– Пойдем, – сказал он, помолчав. – Холодно на берегу.

Простудишься.

Я не захотел идти в дом. Дядя Илько помолчал еще немного и ушел, а я стоял и смотрел на далекий фонарь. Ветер дул все сильнее, качал тополя, нес откуда-то сладковатый дым соломы.

Утром отца хоронили. Нечипор и дядя Илько выкопали могилу в роще на краю оврага. Оттуда были далеко видны леса за Росью и белесое мартовское небо.

Гроб вынесли из дома на широких вышитых рушниках. Впереди шел ксендз. Он смотрел серыми спокойными глазами прямо перед собой и говорил вполголоса латинские молитвы.

Когда гроб вынесли на крыльцо, я увидел на том берегу реки старую коляску, распряженных и привязанных к ней лошадей и маленькую женщину в черном – маму. Она стояла неподвижно на берегу. Она видела оттуда, как выносили отца. Потом она опустилась на колени и упала головой на

песок.

К ней подошел высокий, тощий извозчик, наклонился над ней и что-то говорил, но она все так же лежала неподвижно.

Потом она вскочила и побежала вдоль берега к гребле. Извозчик схватил ее. Она бессильно опустилась на землю и закрыла лицо руками.

Отца несли по дороге в рощу. На повороте я оглянулся. Мать сидела все так же, закрыв лицо руками.

Все молчали. Только Брегман похлопывал кнутовищем по сапогу.

Около могилы ксендз поднял серые глаза к холодному небу и внятно и медленно сказал по-латыни:

– *Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis!*

«Вечный покой и вечный свет даруй им, господи!»

Ксендз замолчал, прислушался. Шумела река, и над головой в ветвях старых вязов пересвистывались синицы. Ксендз вздохнул и снова заговорил о вечной тоске по счастью и о долине слез. Слова эти удивительно подходили к жизни отца. У меня от них сжалось сердце. Потом я часто испытывал это стеснение сердца, сталкиваясь с жаждой счастья и с несовершенством человеческих отношений.

Шумела река, осторожно свистели птицы, и гроб, осыпая сырую землю и шурша, медленно опускался на рушниках в могилу.

Мне было тогда семнадцать лет.

# Дедушка мой Максим Григорьевич

После похорон отца я прожил еще несколько дней в Городище.

Только на третий день, когда сошла вода, мать смогла переехать через плотину.

Мать осунулась, почернела, но уже не плакала, только часами сидела на отцовской могиле.

Живых цветов еще не было, и могилу убрали бумажными пионами. Их делали девушки из соседней деревни. Они любили вплетать эти пионы в свои косы вместе с шелковыми разноцветными лентами.

Тетушка Дозя старалась утешить меня и развлечь. Она вытащила из чулана – каморы – сундук, полный старинных вещей. Крышка его открывалась с громким звоном.

В сундуке я нашел пожелтевшую, написанную по-латыни гетманскую грамоту – «универсал», медную печать с гербом, Георгиевскую медаль за турецкую войну, «Сонник», несколько обкуренных трубок и черные кружева тончайшей работы.

«Универсал» и печать остались у нас в семье от гетмана Сагайдачного, нашего отдаленного предка. Отец посмеивался над своим «гетманским происхождением» и любил говорить, что наши деды и прадеды пахали землю и были самыми обыкновенными терпеливыми хлеборобами, хотя и счи-

тались потомками запорожских казаков.

Когда Запорожская Сечь при Екатерине Второй была разогнана, часть казаков поселили по берегам реки Рось, около Белой Церкви. Казаки неохотно сели на землю. Буйное их прошлое еще долго докипало в крови. Даже я, родившийся в конце девятнадцатого века, слышал от стариков рассказы о кровавых сечах с поляками, походах «на Туретчину», об уманской резне и чигиринских гетманах.

Наслушавшись этих рассказов, я играл с братьями в запорожские битвы. Играли мы в овраге за усадьбой, где густо рос около плетня чертополох – будяк. Красные его цветы и листья с колючками издавали в жару приторный запах. Облака останавливались в небе над оврагом – ленивые и пышные, настоящие украинские облака. И такова сила детских впечатлений, что с тех пор все битвы с поляками и турками были связаны в моем воображении с диким полем, заросшим чертополохом, с пыльным его дурманом. А самые цветы чертополоха были похожи на сгустки казацкой крови.

С годами запорожская буйность потускнела. Во времена моего детства она сказывалась только в многолетних и разорительных тяжбах с графиней Браницкой из-за каждого клочка земли, в упорном браконьерстве и казачьих песнях – думках. Их пел нам, своим внучатам, дед мой Максим Григорьевич.

Маленький, седой, с бесцветными добрыми глазами, он все лето жил на пасеке за левадой – отсиживался там от гнев-

ного характера моей бабки – турчанки.

В давние времена дед был чумаком. Он ходил на волах в Перекоп и Армянск за солью и сушеной рыбой. От него я впервые услышал, что где-то за голубыми и золотыми степями «Катеринославщины» и Херсонщины лежит райская крымская земля.

До того как дед стал чумаком, он служил в николаевской армии, был на турецкой войне, попал в плен и привез из плена, из города Казанлыка во Фракии, жену – красавицу-турчанку. Звали ее Фатьма. Выйдя за деда, она приняла христианство и новое имя – Гонората.

Бабушку-турчанку мы боялись не меньше, чем дед, и старались не попадаться ей на глаза.

Дед, сидя около шалаша, среди желтых цветов тыквы, напевал дребезжащим тенорком казачьи думки и чумацкие песни или рассказывал всяческие истории.

Я любил чумацкие песни за их заунывность. Такие песни можно было петь часами под скрип колес, валяясь на возу и глядя в небо. Казачьи же песни всегда вызывали непонятную грусть. Они казались мне то плачем невольников, закованных в турецкие цепи – кайданы, то широким походным напевом под топот лошадиных копыт.

Чего только не пел дед! Чаще всего он пел любимую нашу песню:

Засвистали казаченьки

В поход с полуночи.  
Заплакала Марусенька  
Свои ясны очи.

А из дедовских рассказов нам больше всего нравилась история лирника Остапа.

Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь украинскую лиру. Сейчас, должно быть, ее можно найти только в музее. Но в те времена не только на базарах в маленьких городках, но и на улицах самого Киева часто встречались слепцы-лирники.

Они шли, держась за плечо босоногого маленького поводыря в посконной рубахе. В холщовой торбе у них за спиной были спрятаны хлеб, лук, соль в чистой тряпочке, а на груди висела лира. Она напоминала скрипку, но к ней были приделаны рукоятка и деревянный стержень с колесиком.

Лирник вертел рукоятку, колесико кружилось, терлось о струны, и они жужжали на разные лады, будто вокруг лирника гудели, аккомпанируя ему, добрые ручные шмели.

Лирники почти никогда не пели. Они говорили певучим речитативом свои думки, «псалмы» и песни. Потом замолкали, долго слушали, как жужжит-затихает лира, и, глядя перед собой незрячими глазами, просили милостыню.

Просили они ее совсем не так, как обыкновенные нищие. Я помню одного лирника в городе Черкассах. «Киньте грошик, – говорил он, – слепцу и хлопчику, потому что без того хлопчика слепец заплутается и не найдет дорогу после своей

кончины в божий рай».

Я не помню ни одного базара, где бы не было лирника. Он сидел, прислонившись к пыльному тополю. Вокруг него теснились и вздыхали жалостливые бабы, бросали в деревянную миску позеленевшие медяки.

Представление о лирниках навсегда связалось у меня с памятью об украинских базарах – ранних базарах, когда роса еще блестит на траве, холодные тени лежат поперек пыльных дорог и синеватый дым струится над землей, уже освещенной солнцем.

Запотевшие кувшины – глечики – с ледяным молоком, мокрые бархатцы в ведрах с водой, гречишный мед в макотрах, горячие ватрушки с изюмом, решетка с вишнями, запах тарани, ленивый церковный перезвон, стремительные перебранки баб-«покотух», кружевные зонтики молодых провинциальных щеголих и внезапный гром медного котла – его тащил на плечах какой-нибудь румын с дикими глазами. Все «дядьки» считали своей обязанностью постучать по котлу кнутовищем, попробовать, хороша ли румынская медь.

Историю лирника Остапа я знал почти наизусть.

– Случилось то в селе Замощье, под городом Васильковом, – рассказывал дед. – Остап был в том селе ковалем. Кузня его стояла на выезде под черными-пречерными вербами по-над самой рекой. Не знал Остап неудачи – ковал коней, гвозди, ковал оси для чумацких возов.

Как-то к летнему вечеру раздувал Остап угли в кузне, а на

дворе прошла в тот час гроза, раскидала по лужам листья, повалила трухлявую вербу. Раздувал Остап угли и вдруг слышит – топают ногами горячие кони, останавливаются около кузни. И чей-то голос – женский, молодой – зовет коваля.

Вышел Остап и замер: у самых дверей кузни пляшет черный конь, а на нем женщина небесной красоты, в длинном бархатном платье, с хлыстом, с вуалькой. Глаза ее смеются из-под вуальки. И зубы смеются. А бархат на платье мягкий, синий, и блискавятся на нем капли – падают после дождя с черных верб на ту женщину. И рядом с ней на другом коне – молодой офицер. В ту пору в Василькове стоял полк улан.

«Коваль, голубчик, – говорит женщина, – подкуй мне коня, потеряла подкову. Очень скользкая дорога после грозы».

Женщина сошла с седла, села на колоду, а Остап начал ковать коня. Кует и все поглядывает на женщину, а она вдруг сделалась такая смутная, откинула вуаль и тоже смотрит на Остапа.

«Не встречал я вас до сей поры, – говорит ей Остап. – Не из наших вы, мабудь, мест?»

«Я из Петербурга, – отвечает женщина. – Очень хорошо ты куешь».

«Что подковы! – говорит ей тихо Остап. – Пустое дело! Я для вас могу сковать из железа такую вещь, что нету ее ни у одной царицы на свете».

«Какую же это вещь?» – спрашивает женщина.

«Что хотите. Вот, к примеру, я могу сковать самую тонкую

розу с листьями и шипами».

«Хорошо! – так же тихо отвечает женщина. – Спасибо, коваль. Я за ней через неделю приеду».

Остап помог ей сесть в седло. Она подала ему руку в перчатке, чтобы опереться, и Остап не удержался – жарко прильнул к той руке. Но не успела она отдернуть руку, как офицер ударил Остапа наотмашь хлыстом поперек лица и крикнул: «Знай свое место, мужик!»

Кони взвились, поскакали. Остап схватил молот, чтобы кинуть в того офицера. Но не сдужил. Ничего не видит кругом, кровь по лицу льется. Повредил ему офицер один глаз.

Однако перемогся Остап, шесть дней работал и сковал розу. Смотрели ее разные люди, говорили, что такой работы не было, должно быть, даже в итальянской земле.

А на седьмой день ночью кто-то тихо подъехал к кузне, сошел с коня, привязал его к пряслу.

Остап боялся выйти, показать свое лицо – закрыл руками глаза и ждал.

И слышит легкие шаги и дыхание, и чьи-то теплые руки обнимают его, и падает ему на плечо одна-единственная ее слеза.

«Знаю, все знаю, – говорит женщина. – Сердце у меня изболелось за эти дни. Прости, Остап. Из-за меня случилась твоя великая беда. Я прогнала его, моего жениха, и уезжаю теперь в Петербург».

«Зачем?» – спрашивает Остап тихо.

«Милый мой, сердце мое, – говорит женщина, – все равно не дадут нам люди счастья».

«Ваша воля, – отвечает Остап. – Я простой человек, коваль. Мне о вас думать – и то радость».

Взяла женщина розу, поцеловала Остапа и уехала шагом. А Остап вышел на порог, глядел ей вслед, слушал. Два раза останавливала женщина коня. Два раза хотела вернуться. Но не вернулась. Звезды играли над ярами, падали в степь, будто само небо плакало над их любовью. Так-то, хлопчик!

В этом месте дед всегда замолкал. Я сидел, боясь пошевелиться. Потом я спрашивал шепотом:

– Так они и не виделись больше?

– Нет, – отвечал дед. – Это верно, не виделись. Остап начал слепнуть. Надумал он дойти тогда до Петербурга, чтобы увидеть ту женщину, пока он еще не совсем ослеп. Дошел он до царской столицы и узнал, что она умерла, – мабудь, не выдержала разлуки. Нашел Остап на кладбище ее могилу из белого мрамора-камня, глянул, и сердце у него сорвалось – на камне лежала его железная роза. Завещала та женщина положить розу на ее могилу. Навеки. А Остап начал лирничать и, мабудь, так и помер на шляху или на базаре под возом. Аминь!

Косматый пес Рябчик с репьями на морде громко зевал, слушая дедовский рассказ. Я толкал его от негодования в бок, а Рябчик ничуть не обижался и лез ко мне ласкаться, высунув горячий язык.

В пасти у Рябчика торчали обломки зубов. Прошлой осенью, когда мы уезжали из Городища, он вцепился в колесо – хотел остановить коляску – и поломал зубы.

Ах, дед Максим Григорьевич! Ему я отчасти обязан чрезвычайной впечатлительностью и романтизмом. Они превратили мою молодость в ряд столкновений с действительностью. Я страдал от этого, но все же знал, что дед прав и что жизнь, созданная из трезвости и благоразумия, может быть, и хороша, но тягостна для меня и бесплодна. «На всякого человека, – как говаривал дед, – другая пропорция».

Может быть, поэтому дед и не уживался с бабкой. Вернее, прятался от нее. Ее турецкая кровь не дала ей ни одной привлекательной черты, кроме красивой, но грозной наружности.

Бабка была деспотична, придирчива. Она выкуривала в день не меньше фунта крепчайшего черного табака. Курила она его в коротких раскаленных трубках. Она ведала хозяйством. Ее черный глаз замечал малейший непорядок в доме.

По праздникам она надевала атласное платье, отороченное черными кружевами, выходила из дому, садилась на завалинку, дымила трубкой и смотрела на быструю реку Рось. Изредка она громко смеялась своим мыслям, но никто не решался спросить ее, чему она смеется.

Единственной вещью, которая немного примиряла нас с бабкой, был твердый розовый брусок, похожий на мыло. Он был спрятан у нее в комод. Она изредка вынимала его и

с гордостью давала нам нюхать. Брусок издавал тончайший запах роз.

Отец рассказал мне, что долина вокруг Казанлыка – родного города бабки – называется Долиной роз, что там добывают розовое масло и чудесный брусок – это какой-то состав, пропитанный этим маслом.

Долина роз! Самые эти слова меня волновали. Я не понимал, как в таких поэтических местах мог появиться человек с такой суровой душой, как у моей бабки.

# Караси

Сейчас, задержавшись в Городище после смерти отца, я вспомнил раннее свое детство, то время, когда мы, веселые и счастливые, приезжали сюда на лето из Киева. Тогда отец и мать были еще молоды и еще не умерли дед и турчанка-бабка. Тогда и я был еще совсем маленьким мальчиком и выдумывал всякие небылицы.

Поезд из Киева приходил в Белую Церковь вечером. Отец тотчас нанимал на вокзальной площади крикливых извозчиков.

В Городище мы добирались ночью. Сквозь дремоту я слышал надоедливое дребезжание рессоры, потом шум воды около мельницы, лай собак. Фыркали лошади и скрипели плетни. Ночь сияла незакатными звездами. Из сырой темноты тянуло бурьяном.

Тетушка Дозя вносила меня, сонного, в теплую хату, устланную разноцветными половиками. В хате пахло теплым молоком. Я открывал на минуту глаза и видел около своего лица пышную вышивку на белоснежных рукавах тетушки Дози.

Утром я просыпался от жаркого солнца, бившего в белые стены. Красные и желтые мальвы-монашки покачивались за открытым окном. Вместе с ними заглядывал в комнату цветок настурции; в нем сидела мохнатая пчела. Я, замерев, сле-

дил, как она сердито пятится и выбирается из тесного цветка. По потолку без конца бежали светлые струи, легкие волны – отражения реки. Река шумела тут же, рядом.

Потом я слышал, как насмешливый дядя Илько говорил кому-то:

– Ну конечно, солнце не успело пригреть, а уже появилась процессия! Дося, ставь на стол вишневку и пироги!

Я вскакивал, подбегал босиком к окну и видел: с того берега по гребле, постукивая суковатыми посохами, медленно надвигались на усадьбу старики в больших соломенных шляпах – брилях. Медали брэнчали и поблескивали на их коричневых свитках.

Это шли приветствовать нас и поздравить с благополучным приездом почтенные деды из соседней деревни Пилипчи. Впереди шел щербатый староста Трофим с медной бляхой на шее.

В хате начиналась суета. Тетушка Дося взмахивала над столом скатертью. Ветер проносился по комнате. Мама торопливо накладывала на блюдо пироги, резала колбасу. Отец откупоривал бутылки с домашней вишневкой, а дядя Илько расставлял граненые стаканчики.

Потом тетушка Дося и мама убегали переодеваться, а отец и дядя Илько выходили на крыльцо, навстречу старикам, приближавшимся торжественно и неотвратимо, как судьба.

Старики наконец подходили, молча целовались с отцом и дядей, садились на завалинку, все сразу вздыхали, и тогда

староста Трофим, предварительно откашлявшись, произнес свою знаменитую фразу:

– Честь имею покорнейше вас поздравить, Георгий Максимович, с приездом до нас, в нашу тихую местность.

– Спасибо! – говорил отец.

– Да-а! – отвечали сразу все старики и облегченно вздыхали. – Оно так, конечно...

– Да-а! – повторял Трофим и поглядывал через окно на стол, где поблескивали бутылки.

– Вот оно, значит, как слагается, – произносил старый николаевский солдат с бугристым носом.

– Понятное дело! – вступал в разговор маленький и очень любопытный старик Недоля, отец двенадцати дочерей.

От старости он позабыл их имена и мог насчитать по пальцам не больше пяти: Ганна, Парася, Горпына, Олеся, Фрося... Потом старик сбивался и начинал счет сначала.

– Так! – говорили старики и надолго замолкали.

В это время из хаты выходил дедушка Максим Григорьевич. Старики вставали, низко кланялись ему. Дедушка кланялся им в ответ, и старики, шумно вздохнув, снова садились на завалинку, кричали, молчали и смотрели в землю. Наконец по каким-то неуловимым признакам дядя Илько догадывался, что в хате все готово для угощения, и говорил:

– Ну, спасибо вам за разговор, добрые люди. Пожалуйста теперь откушать чем бог послал.

В хате стариков встречала мама в летнем нарядном пла-

ть. Старики целовали её руку, а она в ответ целовала их коричневые руки – таков был обычай. Тетушка Дозя в синем платье и в шали с пунцовыми розами, румяная, красивая, рано поседевшая, кланялась старикам в пояс.

После первого стаканчика липкой вишневки Недоля, мучимый любопытством, приступал к расспросам. Все вещи, привезенные нами из Киева, вызывали его недоумение, и он, показывая на них, спрашивал:

– Що воно, для чого воно и яка в нем словесность?

Отец объяснял ему, что вот это – духовой утюг, а это – мороженица, а там на комодe – складное зеркало. Недоля с восхищением крутил головой:

– На всячину свое средство!

– Оно так, конечно! – соглашались старики, выпивая.

Лето в Городище вступало в свои права, – жаркое лето с его страшными грозами, шумом деревьев, прохладными струями речной воды, рыбной ловлей, зарослями ежевики, с его сладостным ощущением беззаботных и разнообразных дней.

Остров, на котором стояла дедовская хата, был, конечно, самым таинственным местом на свете.

За домом лежали два огромных глубоких пруда. Там всегда было сумрачно от старых ив и темной воды.

За прудами, вверх по склону, подымалась роща с непролазным орешником. За рощей начинались поляны, заросшие по пояс цветами и такие душистые, что от них в знойный

день разбаливалась голова.

За полянами на пасеке курился слабый дымок около дедовского шалаша. А за дедовским шалашом шли неизведанные земли – красные гранитные скалы, покрытые ползучими кустами и сухой земляникой.

В углублениях этих скал стояли маленькие озера дождевой воды. Трясогузки, подрагивая пестрыми хвостами, пили теплую воду из этих озер. Неуклюжие и нахальные шмели, свалившись с размаху в озера, кружились и гудели, тщетно взывая о помощи.

Скалы обрывались отвесной стеной в реку Рось. Туда нам запретили ходить. Но мы изредка подползали к краю скал и смотрели вниз. Тугим прозрачным потоком, кружа голову, неслась вниз Рось. Под водой, навстречу течению, медленно шли, вздрагивая, узкие рыбы.

На том берегу подымался по скату заповедный лес графини Браницкой. Солнце не могло прорваться сквозь мощную зелень этого леса. Лишь изредка одинокий луч прорезал наискось чащу и открывал перед нами потрясающую силу растительности. Как сверкающие пылинки, влетали в этот луч маленькие птицы. Они с писком гонялись друг за другом и ныряли в листву, будто в зеленую воду.

Но самым любимым моим местом были пруды.

Каждое утро отец ходил туда удить рыбу. Он брал меня с собой.

Мы выходили из дому очень рано и осторожно шагали по

тяжелой мокрой траве. Тихими золотеющими пятнами светились среди темной, еще ночной листвы ветки ив, озаренные первым солнцем. В глухой воде плескались караси. Заросли кувшинок, рдеста, стрелолиста и водяной гречихи висели, казалось, над черной бездной.

Таинственный мир воды и растений раскрывался передо мной. Очарование этого мира было так велико, что я мог просиживать на берегу пруда с восхода до захода солнца.

Отец бесшумно закидывал удочки и закуривал. Табачный дым плыл над водой и запутывался среди прибрежных веток.

Я набирал в ведро воды из пруда, бросал в эту воду траву и ждал. Красные поплавки неподвижно стояли в воде. Потом один из них начинал вздрагивать, пускал легкие круги, внезапно нырял или быстро плыл в сторону. Отец подсекал, леска натягивалась, ореховое удилище сгибалось в дугу, и в тумане над прудом начиналось бульканье, плеск, возня. Вода разбегалась, качая кувшинки, торопливо удирали во все стороны жуки-водомеры, и наконец в загадочной глубине появлялся бьющийся золотой блеск. Нельзя было разобрать, что это такое, пока отец не выволакивал на примятую траву тяжелого карася. Он лежал на боку, отдувался и шевелил плавниками. От его чешуи шел удивительный запах подводного царства.

Я пускал карася в ведро. Он ворочался там среди травы, неожиданно бил хвостом и обдавал меня брызгами. Я слизывал эти брызги со своих губ, и мне очень хотелось напиться

из ведра, но отец не позволял этого.

Мне казалось, что вода в ведре с карасем и травой должна быть такой же душистой и вкусной, как вода грозových дождей. Мы, мальчишки, жадно пили ее и верили, что от этого человек будет жить до ста двадцати лет. Так, по крайней мере, уверял Нечипор.

# Плеврит

Грозы в Городище бывали часто. Они начинались на Ивана Купала и длились весь июль, обкладывали остров разноцветными громадами туч, блистали и гремели, сотрясая наш дом, и пугали до обморока тетушку Дозю.

С этими грозами связано воспоминание о моей первой детской любви. Мне было тогда девять лет.

В день Ивана Купала девушки из Пилипчи приходили нарядной стайкой к нам на остров, чтобы пускать по реке венки. Они плели венки из полевых цветов. Внутрь каждого венка они вставляли крестовину из щепочек и прилепляли к ней восковой огарок. В сумерки девушки зажигали огарки и пускали венки по реке.

Девушки гадали, – чья свеча заплывет дальше, та девушка будет счастливее всех. Но самыми счастливыми считались те, чей венок попадал в водоворот и медленно кружился над омутом. Омут был под крутояром. Там всегда стояло затишье, свечи горели на таких венках очень ярко, и даже с берега было слышно, как трещат их фитили.

И взрослые, и мы, дети, очень любили эти венки на Ивана Купала. Один Нечипор пренебрежительно кричал и говорил: – Глупство! Нема в тех венках ниякой рации!

С девушками приходила Ганна, моя троюродная сестра. Ей было шестнадцать лет. В рыжеватые пышные косы она

вплетала оранжевые и черные ленты. На шее у нее висело тусклое коралловое монисто. Глаза у Ганны были зеленоватые, блестящие. Каждый раз, когда Ганна улыбалась, она опускала глаза и подымала их уже не скоро, будто ей было тяжело их поднять. Со щек ее не сходил горячий румянец.

Я слышал, как мама и тетушка Дося жалели Ганну за что-то. Мне хотелось узнать, что они говорят, но они всегда замолкали, как только я подходил.

На Ивана Купала меня отпустили с Ганной на реку к девушкам. По дороге Ганна спросила:

– Кем же ты будешь, Костик, когда вырастешь большой?

– Моряком, – ответил я.

– Не надо, – сказала Ганна. – Моряки тонут в пучине. Кто-нибудь да проплачет по тебе ясные свои очи.

Я не обратил внимания на слова Ганны. Я держал ее за горячую смуглую руку и рассказывал о своей первой поездке к морю.

Ранней весной отец ездил на три дня в командировку в Новороссийск и взял меня с собой. Море появилось вдали, как синяя стена. Я долго не мог понять, что это такое. Потом я увидел зеленую бухту, маяк, услышал шум волн у мола, и море вошло в меня, как входит в память великолепный, но не очень ясный сон.

На рейде стояли черные броненосцы с желтыми трубами – «Двенадцать апостолов» и «Три святителя». Мы ездили с отцом на эти корабли. Меня поразили загорелые офицеры

в белых кителях с золотыми кортиками, маслянистое тепло машинных отделений. Но больше всего удивил меня отец. Я таким никогда его не видел. Он смеялся, шутил, оживленно говорил с офицерами. Мы даже зашли в каюту к одному корабельному механику. Отец пил с ним коньяк и курил турецкие папиросы из розовой бумаги с золотыми арабскими буквами.

Ганна слушала, опустил глаза. Мне стало почему-то жаль ее, и я сказал, что когда сделаюсь моряком, то непременно возьму ее к себе на корабль.

– Кем же ты меня возьмешь? – спросила Ганна. – Стряпкой? Или прачкой?

– Нет! – ответил я, загораясь мальчишеским воодушевлением. – Ты будешь моей женой.

Ганна остановилась и строго посмотрела мне в глаза.

– Побожись! – прошептала она. – Поклянись сердцем матери!

– Клянусь! – ответил я, не задумываясь.

Ганна улыбнулась, зрачки ее сделались зелеными, как морская вода, и она крепко поцеловала меня в глаза. Я почувствовал жар ее рдеющих губ. Всю остальную дорогу до реки мы молчали.

Свеча Ганны погасла первой. Из-за леса графини Браницкой подымалась дымная туча. Но мы, увлеченные венками, ее не заметили, пока не ударил ветер, не засвистели, нагибаясь к земле, ракиты и не хлестнула, взорвавшись ослепи-

тельным громом, первая молния.

Девушки с визгом бросились под деревья. Ганна сорвала с плеч платок, обвязала им меня, схватила за руку, и мы побежали.

Она тащила меня, ливень настигал нас, и я знал, что до дому мы пробежать все равно не успеем.

Ливень догнал нас невдалеке от дедовского шалаша. До шалаша мы пробежали промокшие насквозь. Деда на пасеке не было.

Мы сидели в шалаше, прижавшись друг к другу. Ганна растирала мои руки. От нее пахло мокрым ситцем. Она все время испуганно спрашивала:

– Тебе холодно? Ой, заболеешь ты, что я тогда буду делать!

Я дрожал. Мне было действительно очень холодно. В глазах Ганны сменялись страх, отчаяние, любовь.

Потом она схватилась за горло и закашлялась. Я видел, как билась жилка на ее нежной и чистой шее. Я обнял Ганну и прижался головой к ее мокрому плечу. Мне захотелось, чтобы у меня была такая молодая и добрая мама.

– Что ты? – растерянно спрашивала Ганна, не переставая кашлять, и гладила меня по голове. – Что ты? Ты не бойся... Нас громом не убьет. Я же с тобой. Не бойся.

Потом она слегка оттолкнула меня, прижала ко рту рукав рубахи, вышитый красными дубовыми листьями, и рядом с ними по полотну расплзлось маленькое кровавое пятно, по-

хожее на вышитый дубовый листок.

– Не надо мне твоей клятвы! – прошептала Ганна, виновато взглянула на меня исподлобья и усмехнулась. – Это я пошутила.

Гром гремел уже за краем огромной земли. Ливень прошел. Только шумели по деревьям частые капли.

Ночью у меня начался жар. Через день приехал из Белой Церкви на велосипеде молодой доктор Напельбаум, осмотрел меня и нашел, что у меня плеврит.

От нас Напельбаум ходил в Пилипчу к Ганне, вернулся и сказал в соседней комнате моей матери тихим голосом:

– У нее, Мария Григорьевна, скоротечная чахотка. Она не доживет до весны.

Я заплакал, позвал маму, обнял ее и заметил, что у мамы на шее бьется такая же нежная жилка, как и у Ганны. Тогда я заплакал сильнее и долго не мог остановиться, а мама гладила меня по голове и говорила:

– Что ты? Я же с тобой. Не бойся.

Я выздоровел, а Ганна умерла зимой, в феврале.

На следующее лето я пошел с мамой на ее могилу и положил на зеленый маленький холмик цветы ромашки, перевязанные черной лентой. Такие цветы Ганна вплетала в свои косы. И мне было почему-то неловко, что рядом со мной стоит мама с красным зонтиком от солнца и что я пришел к Ганне не один.

## Поездка в Ченстохов

В Черкассах, на Днепре, жила другая моя бабушка – Викентия Ивановна, высокая старуха, полька.

У нее было много дочерей, моих тетушек. Одна из этих тетушек, Евфросиния Григорьевна, была начальницей женской гимназии в Черкассах. Бабушка жила у этой тетушки в большом деревянном доме.

Викентия Ивановна всегда ходила в трауре и черной наколке. Впервые она надела траур после разгрома польского восстания в 1863 году и с тех пор ни разу его не снимала.

Мы были уверены, что во время восстания у бабушки убили жениха – какого-нибудь гордого польского мятежника, совсем не похожего на угрюмого бабушкиного мужа, а моего деда, – бывшего нотариуса в городе Черкассах.

Деда я помню плохо. Он жил в маленьком мезонине и редко оттуда спускался. Бабушка поселила его отдельно от всех из-за невыносимой страсти деда к курению.

Изредка мы пробирались к нему в комнату, горькую и мутную от дыма. На столе горами лежал табак, высыпанный из коробок. Дед, сидя в кресле, набивал трясущимися жилистыми руками папиросу за папиросой.

С нами он не разговаривал, только взъерошивал тяжелой рукой волосы у нас на затылке и дарил лиловую гляцевую бумагу из табачных коробок.

Мы часто приезжали из Киева погостить к Викентии Ивановне. У нее существовал твердый порядок. Каждую весну великим постом она ездила на богомолье по католическим святым местам в Варшаву, Вильно или Ченстохов.

Но иногда ей приходило в голову посетить православные святыни, и она уезжала в Троице-Сергиевскую лавру или в Почаев.

Все ее дочери и сыновья посмеивались над этим и говорили, что если так пойдет дальше, то Викентия Ивановна начнет навещать знаменитых еврейских цади́ков и закончит свои дни паломничеством в Мекку к гробу Магомета.

Самое крупное столкновение между бабушкой и отцом произошло, когда бабушка воспользовалась тем, что отец уехал в Вену на конгресс статистиков, и взяла меня с собой в одно из религиозных путешествий. Я был счастлив этим и не понимал негодования отца. Мне было тогда восемь лет.

Я помню прозрачную виленскую весну и каплицу Острая Брама, куда бабушка ходила к причастию.

Весь город был в зеленоватом и золотистом блеске первых листьев. В полдень на Замковой горе стреляла пушка времен Наполеона.

Бабушка была очень начитанная женщина. Она без конца мне все объясняла.

Религиозность удивительно уживалась в ней с передовыми идеями. Она увлекалась Герценом и одновременно Генрихом Сенкевичем. Портреты Пушкина и Мицкевича всегда

висели в ее комнате рядом с иконой Ченстоховской божьей матери. В революцию 1905 года она прятала у себя революционеров-студентов и евреев во время погромов.

Из Вильно мы поехали в Варшаву. Я запомнил только памятник Копернику и кавярни, где бабушка угощала меня «пшевруцонной кавой» – «перевернутым кофе»: в нем было больше молока, чем кофе. Она угощала меня и пирожными – меренгами, таявшими во рту с маслянистой холодной сладостью. Нам подавали вертлявые девушки в гофрированных передниках.

Из Варшавы мы поехали в Ченстохов, в знаменитый католический монастырь Ясна Гура, где хранилась «чудотворная» икона божьей матери.

Впервые я тогда столкнулся с религиозным фанатизмом. Он потряс меня и напугал. С тех пор страх перед фанатизмом и отвращение к нему вошли в мое сознание. Я долго не мог избавиться от этого страха.

Поезд пришел в Ченстохов рано утром. От вокзала до монастыря, стоявшего на высоком зеленом холме, было далеко.

Из вагона вышли богомольцы – польские крестьяне и крестьянки. Среди них были и городские обыватели в пыльных котелках. Старый тучный ксендз и мальчишки-причетники в кружевных одеяниях ждали богомольцев на вокзале.

Тут же, около вокзала, процессия богомольцев выстроилась на пыльной дороге. Ксендз благословил ее и пробормотал в нос молитву. Толпа рухнула на колени и поползла к

монастырю, распевая псалмы.

Толпа ползла на коленях до самого монастырского собора. Впереди ползла седая женщина с белым исступленным лицом. Она держала в руках черное деревянное распятие.

Ксендз медленно и равнодушно шел впереди этой толпы. Было жарко, пыльно, пот катился по лицам. Люди хрипло дышали, гневно оглядываясь на отстающих.

Я схватил бабушку за руку.

– Зачем это? – спросил я шепотом.

– Не бойся, – ответила бабушка по-польски. – Они грешники. Они хотят вымолить прощение у пана бога.

– Уедем отсюда, – сказал я бабушке.

Но она сделала вид, что не расслышала моих слов.

Ченстоховский монастырь оказался средневековым замком. В стенах его торчали ржавые шведские ядра. В крепостных рвах гнила зеленая вода. На валах шумели густые деревья.

Подъемные мосты на железных цепях были опущены. Мы въехали в извозничьем экипаже по такому мосту в путаницу монастырских дворов, переходов, закоулков и аркад.

Служка-монах, подпоясанный веревкой, провел нас в монастырскую гостиницу. Нам отвели холодную сводчатую комнату. Неизменное распятие висело на стене. На пробитые гвоздями латунные ноги Христа кто-то повесил венок из бумажных цветов.

Монах спросил бабушку, не страдает ли она болезнями,

требующими исцеления. Бабушка была очень мнительная и тотчас пожаловалась на боли в сердце. Монах достал из кармана коричневой рясы горсть маленьких, сделанных из серебра сердец, рук, голов и даже игрушечных младенцев и высыпал их горкой на стол.

– Есть сердца, – сказал он, – на пять рублей, на десять и на двадцать. Они уже освященные. Остается только повесить их с молитвой на икону божьей матери.

Бабушка купила маленькое пухлое сердце за десять рублей.

Бабушка сказала, что ночью мы пойдем в костел на торжественную службу, напоила меня чаем с варшавскими черствыми булочками и прилегла отдохнуть. Она уснула. Я смотрел в низкое окно. Прошел монах в блестящей выгоревшей рясе. Потом два польских крестьянина сели в тени у стены, достали из узелков серый хлеб и чеснок и начали есть. У них были синие глаза и крепкие зубы.

Мне стало скучно, и я осторожно вышел на улицу. Бабушка велела, чтобы в монастыре я не разговаривал по-русски. От этого мне было страшно. По-польски я знал всего несколько слов.

Я заблудился, попал в узкий проход между стенами. Он был вымощен треснувшими плитами. В трещинах цвел подорожник. К стенам были привинчены чугунные фонари. Их, должно быть, давно не зажигали – в одном фонаре я разглядел птичье гнездо.

Узкая калитка в стене была приоткрыта. Я заглянул в нее. Яблоневый сад, весь в солнечных пятнах, спускался по склону холма. Я осторожно вошел. Сад отцветал. Часто падали пожелтевшие лепестки. Жидкий, но мелодичный звон долетал с костельной колокольни.

Под старой яблоней сидела на траве молоденькая польская крестьянка и кормила грудью ребенка. Ребенок морщился и хрипел. Рядом с женщиной стоял бледный, опухший крестьянский парень в новой фетровой шляпе. На шляпе была нашита синяя атласная лента и за нее заткнуто павлинье перо. Парень смотрел себе под ноги круглыми глазами и не шевелился.

Низенький плешивый монах с садовыми ножницами в руке присел на пне против женщины. Он внимательно посмотрел на меня и сказал:

– Нех бендзи похвалёны Езус Христус!

– На веки векув! – ответил я так, как меня учила бабушка.

Сердце у меня остановилось от страха.

Монах отвернулся и снова стал слушать женщину. Пряди белых волос падали ей на лицо. Она отбрасывала их нежной рукой и жалобно говорила:

– Как сыночку пошел пятый месяц, Михась застрелил аиста. Он принес его в нашу халупку. Я заплакала и сказала: «Что ты наделал, глупец! Ты же знаешь, что за каждого убитого аиста бог отнимает у людей по одному ребенку. Зачем же ты его застрелил, Михась?»

Парень в фетровой шляпе все так же безразлично рассматривал землю.

– И с того дня, – продолжала крестьянка, – сыночек наш посинел и болезнь начала его душить за горло. Поможет ему божья матка?

Монах уклончиво смотрел в сторону и ничего не отвечал.

– Ох, тенскнота! – сказала женщина и начала царапать себя рукой по горлу. – Ох, тенскнота! – закричала она и прижала к груди ребенка.

Ребенок тарасил глаза и хрипел.

Я вспомнил про игрушечных серебряных младенцев, которых показывал бабушке служка в монастырской гостинице. Мне было жаль эту женщину. Я хотел сказать ей, чтобы она купила за двадцать рублей такого младенца и подвесила его к ченстоховской иконе. Но у меня не хватало польских слов, чтобы дать такой сложный совет. Кроме того, я боялся монаха-садовника. Я ушел из сада.

Когда я вернулся, бабушка еще спала. Я лег не раздеваясь на жесткую койку и тотчас уснул.

Бабушка меня разбудила среди ночи. Я умылся холодной водой в большом фаянсовом тазу. Я дрожал от возбуждения. За окнами проплывали ручные фонари, слышалось шарканье ног, перезванивали колокола.

– Сегодня, – сказала бабушка, – будет служить кардинал, папский нунций.

С трудом мы добрались в темноте до костела.

– Держись за меня! – сказала бабушка в неосвещенном притворе.

Мы ощупью вошли в костел. Я ничего не увидел. Не было ни одной свечи, никакого проблеска света среди душно-го мрака, скованного высокими костельными стенами и наполненного дыханием сотен людей. Кромешная эта темнота сладковато пахла цветами.

Я почувствовал под ногой стертый чугунный пол, сделал шаг и тотчас наткнулся на что-то.

– Стой спокойно! – сказала шепотом бабушка. – Люди лежат крестом на полу. Ты наступишь на них.

Она начала читать молитву, а я ждал, держась за ее локоть. Мне было страшно. Люди, лежавшие крестом на полу, тихо вздыхали. Печальный шелест разносился вокруг.

Внезапно в этом тяжелом мраке раздался, сотрясая стены, рыдающий гром органа. В ту же минуту вспыхнули сотни свечей. Я вскрикнул, ослепленный и испуганный.

Большая золотая завеса, закрывавшая икону Ченстоховской божьей матери, начала медленно раздвигаться. Шесть старых ксендзов в кружевном облачении стояли на коленях перед иконой, спиной к толпе. Их руки были воздеты к небу. Только худой кардинал в пурпурной сутане с широким фиолетовым кушаком, стягивавшим его тонкую талию, стоял во весь рост – тоже спиной к молящимся, – как бы прислушиваясь к затихающей буре органа и всхлипыванью толпы.

Я еще никогда не видал такого театрального и непонятно-

го зрелища.

После ночной службы мы прошли с бабушкой в длинный сводчатый коридор. Светало. Под стенами стояли на коленях молящиеся. Бабушка тоже опустилась на колени и заставила опуститься и меня. Я боялся спросить ее, чего ждут эти люди с безумными глазами.

В конце коридора показался кардинал. Он шел легко и стремительно. Пурпурная его сутана развевалась и задевала молящихся по лицу. Они ловили край сутаны и целовали его страстно и униженно.

– Поцелуй сутану, – сказала мне бабушка быстрым шепотом.

Но я не послушался. Я побледнел от обиды и прямо посмотрел в лицо кардиналу. Должно быть, у меня были слезы на глазах. Он остановился, положил на мгновение сухую маленькую руку мне на голову и сказал по-польски:

– Слезы ребенка – лучшая молитва господу.

Я смотрел на него. Острое его лицо было стянуто коричневой кожей. Как будто тусклое зарево освещало это лицо. Черные прищуренные глаза смотрели на меня выжидательно.

Я упрямо молчал.

Кардинал резко отвернулся и так же легко, подымая ветер, пошел дальше.

Бабушка схватила меня за руку так сильно, что я чуть не вскрикнул от боли, и вывела из коридора.

– Весь в отца! – сказала она, когда мы вышли во двор. –  
Весь в отца! Матерь божья ченстоховская! Что же с тобой  
будет в жизни?!

## Розовые олеандры

На галерее в бабушкином доме в Черкассах стояли в зеленых кадках олеандры. Они цвели розовыми цветами. Мне очень нравились сероватые листья олеандров и бледные их цветы. С ними соединялось почему-то представление о море – далеком, теплом, омывающем цветущие олеандрами страны.

Бабушка хорошо выращивала цветы. Зимой у нее в комнате всегда цвели фуксии. Летом в саду, заросшем около заборов лопухом, распускалось столько цветов, что сад казался сплошным букетом. Запах цветов проникал даже в дедушкин мезонин и вытеснял оттуда табачный перегар. Дедушка сердито захлопывал окна. Он говорил, что от этого запаха у него разыгрывается застарелая астма.

Цветы чудились мне тогда живыми существами. Резеда была бедной девушкой в сером заштопанном платье. Только удивительный запах выдавал ее сказочное происхождение. Желтые чайные розы казались молодыми красавицами, потерявшими румянец от злоупотребления чаем.

Клумба с анютиными глазками походила на маскарад. Это были не цветы, а веселые и лукавые цыганки в черных бархатных масках, пестрые танцовщицы – то синие, то лиловые, то желтые.

Маргаритки я не любил. Они напоминали своими розовы-

ми скучными платьицами девочек бабушкиного соседа учителя Циммера. Девочки были безбровые и белобрысые. При каждой встрече они делали книксен, придерживая кисейные юбочки.

Самым интересным цветком был, конечно, портулак – ползучий, пылающий всеми чистыми красками. Вместо листьев у портулака торчали мягкие и сочные иглы. Стоило чуть нажать их, и в лицо брызгал зеленый сок.

Бабушкин сад и все эти цветы с необыкновенной силой действовали на мое воображение. Должно быть, в этом саду и родилось мое пристрастие к путешествиям. В детстве я представлял себе далекую страну, куда непременно поеду, как холмистую равнину, заросшую до горизонта травой и цветами. В них тонули деревни и города. Когда скорые поезда пересекали эту равнину, на стенках вагонов толстым слоем налипала пыльца.

Я рассказал об этом братьям, сестре и маме, но никто меня не хотел понять. В ответ я впервые услышал от старшего брата презрительную кличку «фантазер».

Понимала меня, пожалуй, одна тетя Надя, самая младшая из бабушкиных дочерей.

Ей было тогда двадцать три года. Она училась пению в Московской консерватории. У нее было прекрасное контральто.

Тетя Надя приезжала на пасху и летом к бабушке в Черкассы. Сразу же в тихом просторном доме делалось шумно и

тесно. Она играла с нами и носилась с хохотом по навощенным полам – стройная, тоненькая, с растрепанными белокурыми волосами и чуть приоткрытым свежим ртом.

В серых ее глазах сверкали всегда крупинки золота. Глаза эти смеялись в ответ на все: на любую шутку, веселое слово, даже в ответ на брезгливую морду кота Антона, недовольного нашим весельем.

– Для Нади все трын-трава! – говорила с легким осуждением мама.

Беспечность тети Нади вошла в нашей семье в поговорку. Она часто теряла перчатки, пудру, деньги, но никогда этим не огорчалась.

В день ее приезда мы подымали крышку рояля, и он стоял открытым до тех пор, пока тетя Надя не возвращалась в свою веселую и хлебосольную Москву.

Груды нот валялись на креслах. Дымили свечи. Рокотал рояль, и я иногда просыпался ночью от грудного и нежного голоса, певшего баркаролу.

Пльиви, моя гондола,  
Озарена луной.  
Раздайся, баркарола,  
Над сонною волной.

А утром меня будило вкрадчивое пение, почти шепот, около самого уха и щекочущие мои щеки волосы тети Нади. «Вставай скорей, – пела она, – не стыдно ль спать, закрыв

глаза, предавшись грезам? Давно малиновки звенят, и для тебя раскрылись розы!»

Я открывал глаза, она целовала меня, тотчас исчезала, а через минуту я слышал, как она уже кружилась по залу в быстром вальсе со своим братом – юнкером дядей Колей. Он тоже иногда приезжал к бабушке на пасху из Петербурга.

Я вскакивал, предчувствуя бурный, веселый, неожиданный день.

Когда тетя Надя пела, даже дедушка открывал настежь дверь на лестницу из мезонина и говорил потом бабушке:

– Откуда только у Нади эта цыганская кровь?

Бабушка уверяла, что у Нади кровь не цыганская, а польская. Ссылаясь на литературные примеры и историю Речи Посполитой, она доказывала, что среди полек часто бывали такие неудержимо веселые, взбалмошные и беспечные женщины.

– Вот именно! – отвечал язвительно дедушка и плотно заворял за собой дверь. – Вот именно! – громко повторял он за закрытой дверью, садясь набивать папиросы.

Однажды, я помню, была поздняя пасха. В Черкассах уже зацвели сады. Мы приехали из Киева на пароходе. Потом из Москвы приехала тетя Надя.

Я любил пасху, но боялся предпасхальных дней, потому что меня заставляли часами растирать миндальные зерна или взбивать ложкой белки. Я уставал от этого и даже втихомолку плакал.

Кроме того, перед пасхой в бабушкином доме начинался беспорядок. Женщины в подоткнутых юбках мыли фикусы, рододендроны, окна и полы, выбивали ковры и мебель, чистили медные ручки на дверях и окнах. Нас вечно гоняли из комнаты в комнату.

После уборки происходило священнодействие – бабушка делала тесто для куличей, или, как их называли у нас в семье, для «атласных баб». Кадку с желтым пузырчатым тестом укутывали ватными одеялами, и пока тесто не всходило, нельзя было бегать по комнатам, хлопать дверьми и громко разговаривать. Когда по улице проезжал извозчик, бабушка очень пугалась: от малейшего сотрясения тесто могло «сесть», и тогда прощай высокие ноздреватые куличи, пахнущие шафраном и покрытые сахарной глазурью!

Кроме куличей, бабушка пекла множество разных «мазурок» – сухих пирожных с изюмом и миндалем. Когда противни с горячими мазурками вынимали из печки, дом наполнялся такими запахами, что даже дедушка начинал нервничать в своем мезонине. Он открывал дверь и заглядывал вниз, в гостиную, где был уже накрыт тяжелыми скатертями длинный мраморный стол.

В страстную субботу в доме наконец воцарялись прохладная чистота и тишина. Утром нам давали по стакану жидкого чая с сухарями, и потом уже весь день до разговения после заутрени мы ничего не ели. Этот легкий голод нам нравился. День казался очень длинным, в голове чуть позванивало, а

требование бабушки поменьше болтать настраивало нас на торжественный лад.

В полночь мы отправлялись к заутрене. Меня одевали в матросские длинные брюки, в матросскую курточку с золотыми пуговицами и больно причесывали щеткой волосы. Я смотрел на себя в зеркало, видел страшно взволнованного румяного мальчика и был очень доволен.

Из своих комнат выходила тетушка Евфросиния Григорьевна. Она одна не принимала участия в праздничных приготовлениях. Она всегда болела, редко разговаривала и только ласково улыбалась в ответ на нашу веселую болтовню.

Она выходила в глухом синем платье, с золотой цепочкой от часов на шее и красивым бантом, приколотым к плечу. Мама объяснила мне, что этот бант называется «шифром», что это награда за образцовое окончание института, где тетушка Евфросиния Григорьевна когда-то училась.

Мама надевала свое праздничное серое платье, а отец – черный костюм с белым жилетом.

Потом появлялась бабушка – торжественная и красивая, вся в черном шелку, с искусственным цветком гелиотропа, приколотым к корсажу. Ее седые гладкие волосы были видны из-под кружевной накладки. Платье ее шуршало, и двигалась она легко, – бабушка молодела в эту ночь.

Она зажигала лампадки, после этого натягивала черные кружевные перчатки, и отец подавал ей мантилью с широкими завязками из лент.

– Вы, конечно, не пойдете к заутрене? – любезно, но холодно спрашивала его бабушка.

– Нет, Викентия Ивановна, – отвечал отец, улыбаясь. – Я прилягу немного. Меня разбудят, когда вы вернетесь из церкви.

– Ох, – говорила бабушка и вздергивала плечами, поправляя мантилью. – У меня одна надежда, что богу надоели ваши шутки и он махнул на вас рукой.

– Я тоже сильно рассчитываю на это, – учтиво отвечал отец.

Бабушка подымалась на минуту в мезонин попрощаться с дедом. Когда она спускалась от деда, в зал входила тетя Надя. Она всегда опаздывала.

Она не входила – она влетала, как тонкая сверкающая птица, в белом платье из легкого шелка с тренем и буфами. Она тяжело дышала, и желтая роза трепетала у нее на груди.

Казалось, весь свет, вся радость мира сияли в ее потемневших глазах.

Бабушка останавливалась на лестнице и подносила платок к глазам. Она не могла сдержать слез при виде красоты своей младшей дочери. Каждый раз бабушка, очевидно, думала о судьбе тети Нади, о том, что будет с ней в суровой этой жизни, и мысли эти невольно заставляли бабушку прослезиться.

На этот раз, когда мы возвратились из церкви, отец не спал. Он открыл настежь окна из гостиной в сад. Было очень тепло.

Мы сели за стол разговляться. Ночь стояла рядом с нами. Звезды мерцали прямо в глаза. Из сада долетало попискивание бессонной птицы. Все говорили мало и прислушивались к то возникавшему, то затихавшему в темноте колокольному звону.

Тетя Надя сидела бледная, усталая. Я заметил, как отец передал ей в передней, когда помогал снять пелерину, синюю телеграмму.

Тетя Надя вспыхнула и скомкала телеграмму.

После разговения меня тотчас послали спать. Проснулся я поздно, когда в столовой звенели чашки и взрослые уже пили кофе.

За обедом тетя Надя сказала, что получила телеграмму из соседнего городка Смелы от своей подруги Лизы Яворской. Лиза приглашает тетю Надю приехать погостить на один день к себе в усадьбу около Смелы.

– Я хочу поехать завтра, – сказала тетя Надя, взглянула на бабушку и добавила: – И возьму с собой Костика.

Я покраснел от счастья.

– Бог с тобой, – ответила бабушка, – поезжайте, но смотрите не простудитесь.

– Они вышлют за нами лошадей, – сказала тетя Надя.

От Черкасс до Смелы был час езды поездом. На станции в Смеле нас встретила Лиза Яворская, толстая и смешливая девица. В пароконном экипаже мы проехали через чистый и красивый городок. Под зелеными обрывами тихими омута-

ми разлилась река Тясмин. Только посредине омутов серебрилось ее медленное течение. Было жарко. Над рекой летали стрекозы.

Когда мы въехали в пустынный парк за городом, Лиза Яворская сказала, что здесь любил гулять Пушкин. Я не мог поверить, что Пушкин бывал в этих местах и что я нахожусь там, где бывал он. В то время Пушкин казался мне существом легендарным. Его блестящая жизнь должна была, конечно, проходить в стороне от этих украинских захолустьев.

– Рядом Каменка, бывшее имение Раевских, – сказала Лиза Яворская. – Он подолгу гостил у них и написал здесь чудные стихи.

– Какие? – спросила тетя Надя.

– Игрой, Адель,  
Не знай печали;  
Хариты, Лель  
Тебя венчали  
И колыбель  
Твою качали...

Я не знал, что значит «хариты» и «Лель», но певучая сила этих стихов, высокий парк, столетние липы и небо, где плыли облака, – все это настроило меня на сказочный лад. Весь этот день остался у меня в памяти как праздник тихой и пустынной весны.

Лиза Яворская остановила экипаж в широкой аллее. Мы

вышли и пошли к дому по боковой дорожке среди густого шиповника.

Неожиданно из-за поворота дорожки вышел загорелый бородатый человек без шапки. Охотничья двустволка висела у него на плече. В руке он нес двух убитых уток. Куртка его была расстегнута. Виднелась крепкая коричневая шея.

Тетя Надя остановилась, и я заметил, как сильно она побледнела.

Загорелый человек сломал большую ветку шиповника с бутонами, исцарапал в кровь руки и подал эту ветку тете Наде. Она осторожно взяла колючий шиповник, протянула бородатому руку, и он поцеловал ее.

– У вас волосы пахнут порохом, – сказала тетя Надя. – И руки исцарапаны. Надо вынуть колючки.

– Пустое! – сказал он и улыбнулся.

У него были ровные зубы. Сейчас, вблизи, я увидел, что он совсем еще нестарый человек.

Мы пошли к дому. Бородатый говорил очень странно, обо всем сразу – о том, что он приехал из Москвы два дня назад, что здесь чудесно, что послезавтра он должен везти свои картины на выставку в Венецию, что его околдовала цыганка – натурщица художника Врубеля – и что он вообще человек пропащий и спасти его может только голос тети Нади.

Тетя Надя улыбалась. Я смотрел на него. Он очень мне нравился. Я догадался, что это был художник. От него действительно пахло порохом. Руки его были покрыты липкой

сосновой смолой. Из черных утиных клювов изредка капала на дорожку яркая кровь.

В густых волосах у художника запуталась паутина, застряла хвоя и даже сухая веточка. Тетя Надя взяла его за локоть, остановила и вынула эту веточку.

– Неисправимый! – сказала она. – Совсем мальчишка, – добавила она и грустно улыбнулась.

– Вы поймите, – умоляющим голосом пробормотал он, – как это замечательно! Я продирался через молодой сосняк, изодрался вконец, но какой запах, какие сухие белые гвоздики, рыжая хвоя, какая паутина! Какая прелесть!

– Вот за это я вас и люблю, – тихо сказала тетя Надя.

Художник вдруг снял ружье с плеча и выстрелил из обоих стволов в воздух. Вырвалась струя синего порохового дыма. Залаяли и понеслись к нам собаки. Где-то вскрикнула и закудахтала испуганная курица.

– Салют жизни! – сказал художник. – Чертовски чудесно жить!

Мы подошли к дому, окруженные взволнованными лающими собаками.

Дом был белый, с колоннами и полосатыми шторами на окнах. К нам вышла маленькая пожилая женщина в бледно-лиловом платье, с лорнетом, вся в седых кудряшках, – мать Лизы Яворской. Она щурилась и долго, сжимая руки, восхищалась красотой тети Нади.

В прохладных комнатах дул ветер, туго натягивал што-

ры, сбрасывал со стола газеты «Русское слово» и «Киевскую мысль». Всюду бродили, принохиваясь, собаки. Услышав какие-нибудь подозрительные звуки из парка, они сразу срывались и с громким лаем, налетая друг на друга, мчались из комнат наружу.

Солнечные пятна бегали от ветра по комнатам, перебирали всякие вещи – вазы, медные колесики на ножках рояля, золотые рамы, брошенную на столик соломенную шляпку тети Нади и синие стволы ружья: его бородастый положил на подоконник.

Мы пили в столовой густой кофе. Художник рассказывал мне, как он удил рыбу в Париже прямо с набережной напротив собора Богоматери. Тетя Надя смотрела на него и ласково усмехалась. А мать Лизы все повторяла:

– Ах, Саша! Когда же вы будете взрослым! Пора уже наконец!

После кофе художник взял тетю Надю и меня за руки и повел в свою комнату. Там валялись кисти, раздавленные тюбики с краской и вообще царил беспорядок. Он начал торопливо собирать разбросанные рубахи, ботинки, куски холста, сунул все это под тахту, потом набил трубку маслянистым табаком из синей жестянки, закурил и велел, чтобы мы с тетей Надей сели на подоконник.

Мы сели. Солнце сильно грело нам спины. Художник подошел к картине, висевшей на стене и закрытой холстом, и снял холст.

– Ну вот! – пробормотал он растерянным голосом. . . – Ни черта у меня не вышло.

На картине была изображена тетя Надя. Тогда я еще ничего не понимал в живописи. Я слышал споры отца с дядей Колей о Верещагине и Врубеле. Но я не знал ни одной хорошей картины. Те, что висели у бабушки, изображали угрюмые пейзажи со скучными деревьями и оленями у ручья или висящих вниз головой коричневых уток.

Когда художник открыл портрет, я невольно засмеялся от радости. Портрет был неотделим от сияющей весенней красоты тети Нади, от солнца, что лилось в старый парк золотыми водопадами, от ветра, сквозившего по комнатам, и зеленоватого отблеска листьев.

Тетя Надя долго смотрела на портрет, потом слегка взъерошила художнику волосы и быстро вышла из комнаты, не сказав ни слова.

– Ну слава богу! – вздохнул художник. – Значит, можно везти этот холст на выставку в Венецию.

Днем мы катались на лодке по Тясмину. Тени от парка лежали на воде зеленой зубчатой стеной. В глубине были видны не успевшие еще дотянуться до поверхности воды круглые листики кувшинок.

Вечером перед отъездом тетя Надя пела в низком зале. Художник аккомпанировал ей и сбивался из-за того, что его пальцы, измазанные смолой, прилипали к клавишам.

Первые встречи, последние встречи,  
Милого голоса звуки любимые...

А потом мы снова ехали в пароконном экипаже в Смелу. Художник с Лизой нас провожали. Лошади стучали копытами по твердой дороге. С реки несло сыростью, квакали лягушки. Высоко в небе горела звезда.

На станции Лиза повела меня в буфет купить мороженого, а тетя Надя и художник остались на скамейке в станционном палисаднике. Мороженого в буфете, конечно, не было, и когда мы вернулись, тетя Надя и художник все так же сидели, задумавшись, на скамейке.

Вскоре тетя Надя уехала в Москву, и я ее больше не видел. На следующий год на масляной она ездила на тройке в Петровский парк, пела на морозе, у нее началось воспаление легких, и перед самой пасхой она умерла. На похороны ее ездили бабушка, мама и даже отец.

Я очень тосковал тогда. И до сих пор я не могу забыть тетю Надю. Она навсегда осталась для меня воплощением всей прелести девичества, сердечности и счастья.

## Шарики из бузины

В коробке перекатывались белые мягкие шарики. Я бросал такой шарик в таз с водой. Шарик начинал набухать, потом раскрывался и превращался то в черного слона с красными глазами, то в оранжевого дракона или цветок розы с зелеными листьями.

Эти сказочные китайские шарики из бузины привез мне из Пекина мой дядя и крестный отец Иосиф Григорьевич, или попросту дядя Юзя.

– Авантюрист чистой воды! – говорил о нем мой отец, но не с осуждением, а даже с некоторой завистью.

Он завидовал дяде Юзе потому, что тот изъездил всю Африку, Азию и Европу, но совсем не как благодетельный турист, а как завоеватель – с шумом, треском, дерзкими выходками и неистребимой жаждой заводить всякие невероятные дела в любом уголке земли: в Шанхае и Аддис-Абебе, в Харбине и Мешхеде.

Все эти дела кончались крахом.

– Мне бы дорваться до Клондайка, – говаривал дядя Юзя. – Я бы им показал, американцам!

Что именно собирался он показать клондайкским отпетым золотоискателям, оставалось неизвестным. Но было совершенно ясно, что он действительно показал бы им что-нибудь такое, что слава о нем прогремела бы по всему Юкону

и Аляске.

Может быть, он был рожден для того, чтобы сделаться знаменитым исследователем и путешественником, равным Николаю Пржевальскому или Ливингстону. Но жизнь в тогдашней России и в то время – его мой отец называл «безвременьем» – исковеркала дядю Юзю. Благородная страсть к путешествиям вылилась у него в беспорядочное и бесплодное скитальчество. Но дяде Юзе я все же обязан тем, что земля после его рассказов стала казаться мне смертельно интересной, и это ощущение я сохранил на всю жизнь.

Бабушка Викентия Ивановна считала дядю Юзю «божьем наказанием», белой вороной в нашей семье. Когда она сердилась на меня за шалости и непослушание, она говорила:

– Смотри, чтобы из тебя не вышел второй дядя Юзя!

Бедная бабушка! Она не подозревала, что жизнь этого дяди казалась мне совершенно великолепной. Я только и мечтал быть «вторым дядей Юзей».

Дядя Юзя всегда появлялся у нас в Киеве или у бабушки в Черкассах внезапно и так же внезапно исчезал, чтобы через год-полтора снова оглушительно позвонить у дверей и наполнить квартиру хрипучим голосом, кашлем, клятвами и заразительным смехом. И каждый раз вслед за дядей Юзей извозчик втаскивал по полу тяжелые чемоданы со всякими редкостями.

Дядя Юзя был высокий бородатый человек с продавленным носом, с железными пальцами – ими он гнул серебря-

ные рубли, – с подозрительно спокойными глазами, в глубине которых никогда не исчезало лукавство.

Он, как говорил отец, «не боялся ни бога, ни черта, ни смерти», но жалко терялся и размякал от женских слез и детских капризов.

Первый раз я увидел его после англо-бурской войны.

Дядя Юзя пошел добровольцем к бурам. Этот поступок – героический и бескорыстный – сильно возвысил его в глазах родственников.

Мы, дети, были потрясены этой войной. Мы жалели буров, дравшихся за свою независимость, и ненавидели англичан. Мы знали во всех подробностях каждый бой, происходивший на другом конце земли, – осаду Ледисмита, сражение под Блумфонтейном и штурм горы Маюбы. Самыми популярными людьми были у нас бурские генералы Деветт, Жубер и Бота. Мы презирали надменного лорда Китченера и издевались над тем, что английские солдаты воюют в красных мундирах. Мы зачитывались книгой «Питер Мариц, молодой бур из Трансвааля».

Но не только мы – весь культурный мир с замиранием сердца следил за трагедией, разыгравшейся в степях между Ваалем и Оранжевой рекой, за неравной схваткой маленького народа с могучей мировой державой. Даже киевские шарманщики, игравшие до тех пор только «Разлуку», начали играть новую песню: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне». За это мы отдавали им пятаки, припря-

таннные на мороженое.

Англо-бурская война была для мальчиков вроде меня крушением детской экзотики. Африка оказалась совсем не такой, какой мы воображали ее себе по романам из «Вокруг света» или по дому инженера Городецкого на Банковской улице в Киеве.

В стены этого серого дома, похожего на замок, были вмурованы скульптурные изображения носорогов, жирафов, львов, крокодилов, антилоп и прочих зверей, населявших Африку. Бетонные слоновые хоботы свисали над тротуарами и заменяли водосточные трубы. Из пасти носорогов капала вода. Серые каменные удавы поднимали головы из темных ниш.

Владелец этого дома, инженер Городецкий, был страстным охотником. Он ездил охотиться даже в Африку. В память этих охот он разукрасил свой дом каменными фигурами зверей. Взрослые говорили, что Городецкий чудака, но мы, мальчишки, любили этот странный дом. Он помогал нашим мечтам об Африке.

Но сейчас, хотя мы и были мальчишками, мы понимали, что страдания и борьба за человеческие права вторглись на огромный черный материк, где до тех пор, по нашим понятиям, только трубили мудрые слоны, дышали миазмами тропические леса и бегемоты сопели в жирной тине великих неисследованных рек. До тех пор Африка существовала как земля путешественников, разных Стенли и Ливингстонов.

Мне, как и другим мальчикам, было жалко расставаться с той Африкой, где мы бродили в мечтах, – расставаться с охотой на львов, с рассветами в песках Сахары, плотами на Нигере, свистом стрел, неистовым гамом обезьян и мраком непроходимых лесов. Там опасности ждали нас на каждом шагу. Мысленно мы уже много раз умирали от лихорадки или от ран за бревенчатыми стенами форта, слушая жужжание одинокой пули, вдыхая запах мокрой ядовитой травы, глядя воспаленными глазами в черное бархатное небо, где догорал Южный Крест.

Сколько раз я так умирал, жалея о своей молодой и короткой жизни, о том, что таинственная Африка не пройде-на мной от Алжира до мыса Доброй Надежды и от Конго до Занзибара!

Но все же это представление об Африке нельзя было целиком выбросить из памяти. Оно оказалось живучим. Поэтому трудно передать то ошеломление, тот немой восторг, которые я испытал, когда в нашей скучной квартире в Киеве появился бородатый, сожженный африканским солнцем человек в широкополой бурской шляпе, в рубашке с открытой шеей, с патронташем на поясе – дядя Юзя.

Я ходил за ним следом, я смотрел ему в глаза. Мне не верилось, что вот эти глаза видели Оранжевую реку, зулусские краали, английских кавалеристов и бури Тихого океана.

В то время президент Трансвааля, старый и грузный Крюгер, приезжал в Россию просить о помощи бурам. Дядя Юзя

приехал вместе с ним. Он пробыл в Киеве всего один день и уехал в Петербург вслед за Крюгером.

Дядя Юзя был уверен, что Россия поможет бурам. Но из Петербурга он написал отцу: «Высшие государственные соображения вынудили русское правительство сделать подлость – бурам мы помогать не будем. Значит, все кончено, и я опять уезжаю к себе на Дальний Восток».

Дед мой – отец моей матери – был человек небогатый. У него не хватило бы средств дать образование многочисленным детям – пятерым девочкам и троим сыновьям, если бы он не отдал всех сыновей в Киевский кадетский корпус. Обучение в корпусе было бесплатное.

Дядя Юзя учился со своими братьями в этом корпусе. Четыре года прошли благополучно, но на пятый год дядя Юзя был переведен из Киева в штрафной, «каторжный» корпус в город Вольск, на Волге. В Вольск кадет ссылали за «тяжкие преступления». Дядя Юзя совершил такое преступление.

Кухня в Киевском корпусе помещалась в подвале. К одному из праздников в кухне напекли много сдобных булочек. Они остывали на длинном кухонном столе. Дядя Юзя достал шест, привязал к нему гвоздь, натаскал с помощью этого приспособления через открытое окно кухни несколько десятков румяных булочек и устроил пышный пир в своем классе.

В Вольске дядя Юзя пробыл два года. На третий год его

исключили из корпуса и разжаловали в солдаты за то, что он ударил офицера: офицер остановил его на улице и грубо изругал за мелкий непорядок в одежде.

На дядю Юзю надели солдатскую шинель, дали ему винтовку и отправили пешим порядком из Вольска в город Кутно, около Варшавы, в артиллерийскую часть.

Он прошел зимой страну с востока на запад, являясь к начальникам гарнизонов, выпрашивая по деревням хлеб, но-чуя где попало.

Из Вольска он вышел вспыльчивым мальчиком, а в Кутно пришел озлобленным солдатом.

В Кутно он дослужился до первого офицерского чина. Его произвели в прапорщики.

На военной службе дяде Юзе не везло самым роковым образом. Из артиллерии его перевели в пехоту. Полк дяди Юзи был вызван в Москву нести охрану во время коронации Николая Второго. Рота дяди Юзи охраняла Кремлевскую набережную.

Ранним утром в день коронации дядя увидел, как его солдаты бросились к берегу реки и там началась жестокая свалка. Придерживая шашку, дядя побежал к солдатам.

Он увидел валявшееся в грязи на берегу страшное существо с медной головой, опутанной проводами. Существо это солдаты сбили с ног, навалились на него, а оно неуклюже отбрыкивалось от них огромными свинцовыми бутсами. Один из солдат зажал резиновую ребристую трубку около медной

головы этого существа, и оно, захрипев, перестало сопротивляться. Дядя увидел, что это водолаз, крикнул на солдат, быстро отвинтил медный шлем, но водолаз был уже мертв.

Дядю и солдат не предупредили, что в это утро водолазы из Кронштадта осматривали дно Москвы-реки, разыскивая адские машины.

После этого случая дядя Юзя был уволен из армии. Он уехал в Среднюю Азию и служил некоторое время начальником верблюжьих караванов, ходивших из Уральска в Хиву и Бухару. В то время Средняя Азия еще не была связана с Россией железной дорогой, все товары перегружались в Уральске на верблюдов и шли дальше караванным путем.

Во время этих караванных путешествий дядя Юзя сдружился с исследователями Средней Азии братьями Грум-Гржимайло и охотился с ними на тигров. Он прислал в подарок бабушке тигровую шкуру с таким свирепым выражением на морде убитого тигра, что бабушка тотчас спрятала эту шкуру в подвал, предварительно пересыпав ее нафталином.

Дядя Юзя любил рассказывать, как одним своим чихом он убивал на месте шакалов. На бивуаках в пустыне дядя ложился, подкладывая под голову сумку с продуктами и притворялся спящим. Шакалы подползали, поджав хвосты. Когда самый наглый из них начинал осторожно вытаскивать зубами сумку из-под дядиной головы, дядя оглушительно чихал, и трусливый шакал, даже не взвизгнув, тут же на месте умирал от разрыва сердца.

Мы верили этому, потому что хорошо знали, как чихал по утрам дядя Юзя, готовясь к новому дню. В ответ на этот чих звенели стекла в окнах и кошка, обезумев, металась по комнате в поисках спасения.

Рассказы дяди Юзи были для нас интереснее походов барона Мюнхгаузена. Мюнхгаузена надо было себе представлять, а дядя Юзя был рядом – живой, тонущий в облаках табачного дыма, сотрясающий своим хохотом диван.

Потом в жизни дяди Юзи наступила неясная полоса. Он скитался по Европе, играл, говорят, в рулетку в Монте-Карло, очутился в Абиссинии и вернулся оттуда с огромным золотым орденом, пожалованным ему за что-то негусом Менеликом. Орден был похож на дворницкую бляху.

Дядя Юзя не находил себе места в жизни, пока взоры его не обратились на туманный Дальний Восток, на Маньчжурию и Уссурийский край. Эта страна как будто нарочно существовала для таких людей, как дядя. Там можно было жить широко, шумно, не подчиняясь никаким «дурацким законам», – во всю силу необузданного характера и своей предприимчивости.

Это была русская Аляска – необжитая, богатая и опасная. Лучшего места на свете нельзя было и придумать для дяди Юзи. Амур, тайга, золото, Тихий океан, Корея, а дальше – Камчатка, Япония, Полинезия. Обширный неизученный мир шумел, как прибой, у берегов Дальнего Востока и тревожил воображение.

Дядя Юзя, захватив с собой молодую жену-подвижницу, – так как никто, кроме подвижницы, по мнению моей мамы, не мог быть женой такого ужасного человека, как дядя Юзя, – уехал на Дальний Восток.

Там он участвовал в обороне Харбина во время китайского восстания, в стычках с хунхузами, в постройке Восточно-Китайской железной дороги. Занятие это он прервал только для того, чтобы поехать в Трансвааль.

После англо-бурской войны он вернулся на Дальний Восток, но уже не в Маньчжурию, а в Порт-Артур. Там он работал агентом Добровольного флота. Дядя Юзя писал, что очень полюбил пароходное дело и жалеет, что в молодости не стал моряком.

К тому времени жена его умерла. На руках у дяди Юзи остались две девочки, его дочери. Он трогательно и неумело воспитывал их вместе со старым китайцем-слугой, которого называл Сам Пью-чай. Этого преданного ему китайца дядя Юзя любил, пожалуй, не меньше, чем своих дочерей. Вообще он очень любил китайцев и говорил, что это великолепный, добрый и мудрый народ и единственный его недостаток – это боязнь дождей.

Во время японской войны дядя Юзя был призван, как старый офицер, в армию. Дочерей вместе с Сам Пью-чаем он отправил в Харбин.

После войны он приезжал в Киев навестить родных. Это был последний раз, когда я его видел.

Он был уже седой, спокойный, но бешеные веселые искорки, хоть и изредка, все еще перебежали в его глазах.

Он рассказывал нам о Пекине, о садах китайских императоров, Шанхае и Желтой реке.

После этих рассказов Китай представлялся мне страной, где вечно стоит теплый и ясный вечер. Может быть, это впечатление объяснялось тем, что дядя Юзя уже ничего не выдумывал, не вращал глазами и не хохотал, а говорил усталым голосом, поминутно стряхивая пепел с папиросы.

Это было в 1905 году. Дядя Юзя плохо разбирался в политике. Он считал себя старым солдатом и действительно был им – честным, верным присяге. Когда мой отец начинал резкие и опасные свои речи, дядя Юзя отмалчивался, уходил в сад, садился на скамейку и там курил в одиночестве. Отца он считал «левее левых».

Осенью пятого года в Киеве восстали саперный батальон и понтонная рота. Саперы прошли с боем через город, отбиваясь от наседавшей на них казачьей сотни.

К саперам присоединились рабочие Южно-Русского машиностроительного завода. Впереди мятежников бежало множество детей. На Галицком базаре Азовский саперный полк открыл по восставшим огонь. Залпами было убито много детей и рабочих. Саперы не могли отвечать на огонь, так как между ними и азовцами были толпы жителей. В этот день дядя Юзя, узнав о событиях, очень нервничал, без конца курил, бродя по саду, и вполголоса бранился.

– Азовцы, – бормотал он. – Дурачье. Позор! А те тоже хороши, саперы, – не стрелки, а куроцапы!

Потом он незаметно исчез из дому и к вечеру не вернулся. Он не вернулся ни ночью, ни на следующий день. Он вообще не вернулся. Только через полгода пришло от его дочери письмо из Харбина. Она сообщала, что дядя Юзя поселился в Японии и просит его простить за внезапное исчезновение.

Гораздо позже мы узнали, что дядя Юзя пробрался к саперам, увидел убитых детей, пришел в ярость, вместе с руководителем восстания поручиком Жадановским собрал часть сапер и открыл с ними такой огонь по правительственным войскам, что те были вынуждены отойти. Дяде Юзе, естественно, пришлось бежать. Он уехал в Японию, где вскоре и умер в городе Кобе от сердечной астмы и страшной болезни – ностальгии – тоски по родине.

Перед смертью этот огромный и неистовый человек плакал при малейшем напоминании о России. А в последнем, как будто шутливым, письме он просил прислать ему в конверте самый драгоценный для него подарок – засушенный лист киевского каштана.

# Святославская улица

Поездки в Черкасы и Городище были в моем детстве праздниками, а будни начинались в Киеве, на Святославской улице, где в сумрачной и неудобной квартире проходили длинные зимы.

Святославская улица, застроенная скучными доходными домами из желтого киевского кирпича, с такими же кирпичными тротуарами, упиралась в огромный пустырь, изрезанный оврагами. Таких пустырей среди города было несколько. Назывались они «ярами».

Весь день мимо нашего дома тянулись к Святославскому яру обозы «каламашек» с глиной. Каламашками в Киеве назывались тележки для перевозки земли. Каламашники засыпали овраги в яру и ровняли его для постройки новых домов.

Земля высыпалась из каламашек, на мостовой всегда было грязно, и потому я не любил Святославскую улицу.

В яр нам строго запретили ходить. Это было страшное место, приют воров и нищих. Но всё же мы, мальчишки, собирались иногда отрядами и шли в яр. Мы брали с собой на всякий случай полицейский свисток. Он казался нам таким же верным оружием, как револьвер.

Сначала мы с опаской смотрели сверху в овраги. Там блестело битое стекло, валялись ржавые тазы и рылись в мусоре собаки. Они не обращали на нас внимания.

Потом мы настолько осмелели, что начали спускаться в овраги, откуда тянуло дрянным желтым дымком. Дымок этот шел от землянок и лачуг. Лачуги были слеplены из чего попало – ломаной фанеры, старой жести, разбитых ящиков, сидений от венских стульев, матрасов, из которых торчали пружины. Вместо дверей висели грязные мешки.

У очагов сидели простоволосые женщины в отрепьях. Они обзывали нас «барчуками» или просили «на монопольку». Только одна из них – седая косматая старуха с львиным лицом – улыбалась нам единственным зубом.

Это была известная в Киеве нищенка-итальянка. Она ходила по дворам и играла на гармонике. За особую плату она играла «Марсельезу». В этих случаях кого-нибудь из мальчишек высылали к воротам, чтобы предупредить, если появится околоточный надзиратель.

Нищенка не только играла «Марсельезу» на гармонике – она кричала ее яростным хриплым голосом. «Марсельеза» в ее исполнении звучала как гневный призыв, как проклятье обитателей Святославского яра.

Среди жильцов этих лачуг мы узнавали старых знакомых. Вот Яшка Падучий – нищий с белыми водочными глазами. Он постоянно сидел на паперти Владимирского собора и выкрикивал одну и ту же фразу: «Господа милосердные, обратите внимание на мое калецтво-овецтво!»

В яру Яшка Падучий был совсем не таким гнусавым и тихим, как на паперти. Он выпивал одним духом четвертинку

водки, с размаху бил себя в грудь и вопил со слезой: «Придите ко мне все страждущие и обремененные, и аз упокою вы!»

Вот лысый старик, торгующий зубочистками на Фундуклеевской улице около кафе Франсуа, а рядом – шарманщик с попугаем.

Около лачуг дымили глиняные очаги с дырявыми самоварными трубами.

Больше других мне нравилась лачуга шарманщика. Днем шарманщика никогда не было – он ходил по дворам. Около лачуги сидела на земле босая девушка с землистым лицом и красивыми хмурыми глазами. Она чистила картошку. Одна нога у нее была обмотана тряпками.

Это была дочь шарманщика, гимнастка, «человек без костей». Она ходила раньше с отцом по дворам, раскладывала коврик и показывала на нем – худая, в голубом трико – разные акробатические трюки. Сейчас она повредила ноги и не могла «работать».

Иногда она читала все одну и ту же книгу с оторванным переплетом. По картинкам я догадался, что это были «Три мушкетера» Дюма.

Девушка недовольно кричала на нас:

– Чего вы тут ходите! Не видели, что ли, как люди живут?

Но потом она привыкла к нам и перестала кричать. Ее отец, низенький, седой шарманщик, застав нас в яру, сказал:

– Пусть видят, как мается наше общество. Может быть,

это им пригодится, когда будут студентами.

Сначала мы ходили в яр целой ватагой. Потом я привык к обитателям яра и начал ходить туда один.

Я долго скрывал это от мамы, но меня выдала дочь шарманщика. Я принес ей почитать «Хижину дяди Тома», но заболел и долго не приходил за книгой. Она забеспокоилась и сама принесла книгу к нам на квартиру. Мама открыла ей дверь, и все обнаружилось. Я понял это по сжатым губам мамы и по ее ледяному молчанию.

Вечером между мамой и отцом происходил в столовой разговор о моем поведении. Я слышал его из-за двери. Мама волновалась и сердилась, но отец сказал, что ничего нет страшного, что меня трудно испортить и что он предпочитает, чтобы я дружил с этими обездоленными людьми, а не с сыновьями киевских купцов и чиновников. Мама возразила, что в моем возрасте меня надо оберегать от тяжелых житейских впечатлений.

– Пойми, – сказал отец, – что эти люди на человеческое отношение отвечают такой преданностью, какую не найдешь в нашем кругу. При чем же тут тяжелые житейские впечатления?

Мама помолчала и ответила:

– Да, может быть, ты прав...

Когда я выздоровел, она принесла мне «Принца и нищего» Марка Твена и сказала:

– Вот... отнеси это сам... дочери шарманщика. Я не знаю,

как ее зовут.

– Лиза, – ответил я робко.

– Ну вот, отнеси эту книгу Лизе. В подарок.

С тех пор никто в доме больше не возмущался моими посещениями Святославского яра. Теперь мне не надо было тайком таскать из буфета сахар для моих новых друзей или китайские орешки для подслеповатого попугая Митьки. Я открыто просил все это у мамы. Она мне никогда не отказывала.

Я был благодарен маме за это, и на душе у меня было так легко, как только может быть у мальчика с чистой совестью.

Однажды ранней осенью шарманщик пришел к нам во двор без попугая. Он равнодушно крутил ручку шарманки. Она высвистывала польку «Пойдем, пойдем, ангел милый, пойдем танцевать со мной». Шарманщик обводил глазами балконы и открытые окна, дожидаясь, когда наконец полетит во двор медная монета, завернутая в бумажку.

Я выбежал к шарманщику. Он сказал мне, не переставая вертеть шарманку:

– У Митьки хвороба. Сидит, как еж. Твои орешки и то лущить бросил. Видать, подыхает.

Шарманщик снял черную пыльную шляпу и вытер ею лицо.

– Пропащее существование! – сказал он. – Одной шарманкой, без Митьки, не то что на хлеб – на водку не зарабатываешь. Кому теперь вытягивать «счастье»?

Попугай за пять копеек вытаскивал желающим зеленые, синие и красные билетки с напечатанными на них предсказаниями. Билетки эти назывались почему-то «счастьем». Они были свернуты в трубочки и уложены, как папиросы, в коробку от гильз. Прежде чем вытащить билетик, Митька долго топтался по жердочке и недовольно кричал.

Предсказания были написаны весьма темным языком.

«Вы родились под знаком Меркурия, и камень ваш есть изумруд, иначе смарагд, что означает нерасположение и окончательное нахождение житейского устройства в годы, убеленные сединой. Бойтесь блондинок и блондинов и предпочитайте не выходить на улицу в день усекновения главы Иоанна Предтечи».

Иногда в билетиках были короткие и зловещие фразы: «Завтра к вечеру» или «Если хочешь остаться живым, никогда не оглядывайся».

Через сутки Митька издох, я похоронил его в яру в картонной коробке от ботинок. Шарманщик напился и исчез.

Я рассказал маме о смерти попугая. Губы у меня дрожали, но я сдерживался.

– Одевайся, – строго сказала мама. – Пойдем к Бурмистрову.

Бурмистров был старичок с зеленой от старости бородой. Он держал темный и тесный магазин на Бессарабке. Там глу-

ховатый этот человек, похожий на гнома, торговал великолепными вещами – удочками, разноцветными поплавками, аквариумами, золотыми рыбками, птицами, муравьиными яйцами и даже переводными картинками.

Мама купила у Бурмистрова пожилого зеленого попугая с оловянным кольцом на ноге. Мы одолжили у Бурмистрова клетку. Я нес в ней попугая. По дороге он изловчился и прокусил мне палец до самой кости. Мы зашли в аптеку. Мне перевязали палец, но я был так взволнован, что почти не почувствовал боли.

Мне очень хотелось поскорее отнести попугая к шарманщику, но мама сказала:

– Я пойду вместе с тобой. Я должна это видеть сама.

Она ушла к себе переодеваться. Мне было стыдно, что мама переодевается, чтобы пойти к нищим, оборванным людям, но я не смел ей ничего сказать.

Через несколько минут она вышла. На ней было старенькое платье, заштопанное на локтях. На голову она накинула платок. На этот раз она даже не натянула на руки свои элегантные лайковые перчатки. И туфли она надела со стоптанными каблуками.

Я с благодарностью взглянул на нее, и мы пошли.

Мама мужественно спустилась в овраг, прошла мимо онемевших от изумления растрепанных женщин и даже ни разу не приподняла юбку, чтобы не запачкать ее о кучи мусора и золы.

Лиза, увидев нас с попугаем, вспыхнула, серое ее лицо покрылось жарким румянцем, и она неожиданно сделала маме реверанс. Шарманщика не было дома – он все еще заливал свое горе с приятелями на Демиевке.

Лиза взяла попугая и, все больше краснея, повторяла одни и те же слова:

– Ну зачем это вы! Зачем это вы!

– Его можно будет выучить вытаскивать «счастье»? – спросила мама.

– Да в два дня! – радостно ответила Лиза. – Но зачем это вы! Господи! Зачем? Это же каких денег стоит!

Дома отец, узнав об этом случае, усмехнулся и сказал:

– Дамская филантропия! Сентиментальное воспитание!

– Ах, господи! – воскликнула с досадой мама. – Не знаю, почему ты обязательно хочешь противоречить самому себе. Удивительный у тебя характер. На моем месте ты бы сделал то же самое.

– Нет, – ответил отец, – я бы сделал большее.

– Большее? – переспросила мама, и в голосе ее послышалась угроза. – Ну хорошо! Посмотрим!

– Посмотрим!

Я не догадывался, что отец говорил все это нарочно, чтобы раздражить маму.

На следующий день после этой стычки мама отослала Лизе в Святославский яр черное платье моей сестры и свои коричневые ботинки.

Но отец не остался в долгу перед мамой. Он дождался, когда шарманщик пришел к нам во двор с новым попугаем.

Красный шарф был завязан у шарманщика на шее. Нос его победно блестел от водки. В честь мамы шарманщик проиграл все, что могла насвистывать его шарманка: марш «Госка по родине», вальс «Дунайские волны», польку «Разлука» и песню «Эх, полным-полна коробушка».

Попугай снова вытягивал «счастье». Медяки в бумажках щедро сыпались из окон. Некоторые из них шарманщик ловко ловил шляпой.

Потом он вскинул шарманку на спину и, как всегда сильно согнувшись, пошел не на улицу, а вверх по парадной лестнице и позвонил у наших дверей.

Сняв шляпу и держа ее в вытянутой руке так, что шляпа касалась пола, он поблагодарил маму и поцеловал ей руку. Отец вышел и пригласил шарманщика к себе в кабинет. Шарманщик прислонил шарманку к стене в передней и, осторожно шагая, пошел за отцом.

Отец угостил шарманщика коньяком, сказал, что знает, какая трудная у него и неверная жизнь, и предложил ему место путевого сторожа на Юго-Западной дороге. Будет свой маленький дом, огород.

– Не обессудьте, Георгий Максимович, – тихо ответил шарманщик и покраснел. – Загорюю я будочником. Мне, видно, век бедовать с шарманкой.

Он ушел. Мама не могла скрыть своего торжества, хотя и

молчала.

Через несколько дней полиция неожиданно выселила из Святославского яра всех его обитателей. Шарманщик с Лизой исчезли, – очевидно, они перекочевали в другой город.

Но до этого я успел еще раз побывать в яру. Шарманщик пригласил меня к себе «повечерять».

На перевернутом ящике стояла тарелка с печеными помидорами и черным хлебом, бутылка вишневой наливки и лежали грязные конфеты – толстые, в розовую и белую полоску, сахарные палочки.

Лиза была в новом платье, с туго заплетенными косами. Она обидчиво следила за тем, чтобы я ел «как у мамы». Попугай спал, прикрыв глаза кожаной пленкой. Шарманка изредка сама по себе издавала певучий вздох. Шарманщик объяснил, что это из каких-то трубок выходит застоявшийся воздух.

Был уже сентябрь. Приближались сумерки. Кто не видел киевской осени, тот никогда не поймет нежной прелести этих часов.

Первая звезда зажигается в вышине. Осенние пышные сады молча ждут ночи, зная, что звезды обязательно будут падать на землю и сады поймают эти звезды, как в гамак, в гущу своей листвы и опустят на землю так осторожно, что никто в городе даже не проснется и не узнает об этом.

Лиза проводила меня до дому, сунула мне на прощанье розовую липкую конфету и быстро сбежала по лестнице. А я

долго не решался позвонить, боясь, что мне попадет за позднее возвращение.

## Зимние зрелища

На рождество отец подарил мне коньки «Галифакс».

Теперьшние мальчики долго бы смеялись, увидев эти коньки. Но тогда не было на свете лучших коньков, чем коньки из города Галифакса.

Где этот город? Я спрашивал всех. Где этот старый город Галифакс, заваленный снегом? Там все мальчики бегают на таких коньках. Где эта зимняя страна, населенная отставными моряками и шустрými школьниками? Никто мне не мог ответить.

Старший брат Боря предполагал, что Галифакс – это вовсе не город, а фамилия изобретателя коньков. Отец сказал, что, кажется, Галифакс – это правда городок на острове Ньюфаундленде у северных берегов Америки и знаменит он не только коньками, но и собаками-водолазами.

Коньки лежали у меня на столе. Я смотрел на них и думал о городе Галифаксе. Получив коньки, я тотчас выдумал этот город и уже видел его так ясно, что мог бы нарисовать подробный план его улиц и площадей.

Я мог долго сидеть за столом над задачником Малинина и Буренина – я готовился в эту зиму к экзаменам в гимназию – и думать о Галифаксе.

Это мое свойство пугало маму. Она боялась моих «фантазий» и говорила, что таких мальчиков, как я, ждет нищета

и смерть под забором.

Это мрачное предсказание «ты умрешь под забором» было очень распространено в то время. Почему-то смерть под забором считалась особенно позорной.

Я часто слышал это предсказание. Но гораздо чаще мама говорила, что у меня «вывихнутые мозги и все не так, как у людей», и боялась, как бы из меня не вышел неудачник.

Отец очень сердился, когда слышал это, и говорил маме:

– Пусть будет неудачником, нищим, бродягой, кем угодно, но только не проклятым киевским обывателем!

В конце концов я сам начал побаиваться и стесняться своего воображения. Мне казалось, что я занимаюсь чепухой, тогда как вокруг все заняты серьезными делами: братья и сестра ходят в гимназию, зубрят уроки, отец служит в управлении Юго-Западных железных дорог, мама шьет и распорядается по дому. Только я один живу в оторванном от общих интересов мире и напрасно трачу время.

– Ты бы лучше пошел на каток, чем бессмысленно сидеть и что-то выдумывать, – говорила мама. – Что это за мальчик! На что ты похож!

Я уходил на каток. Зимние дни были короткие. Сумерки заставали меня на катке. Приходил военный оркестр. Зажигались разноцветные лампочки. Гимназистки в шубках катались по кругу, раскачиваясь и пряча руки в маленькие муфты. Гимназисты ездили задом наперед или «пистолетом» – присев на одну ногу и далеко выставив другую. Это счита-

лось высшим шиком. Я им завидовал.

Домой я возвращался раскрасневшийся и усталый. Но тревога не покидала мое сердце. Потому что и после катания на коньках я чувствовал прежнюю опасную склонность к выдумкам.

На катке я часто встречал подругу моей сестры Гали – Катюшу Весницкую, гимназистку старших классов Фундукле-евской женской гимназии. Она тоже каталась на коньках «Галифакс», но сделанных из черной вороненой стали.

Мой старший брат Боря, ученик реального училища и знаток математики, ухаживал за Катюшей. Он танцевал с ней на коньках вальс.

Конькобежцы очищали широкий круг на льду. Уличным мальчишкам, шнырявшим под ногами на самодельных коньках, давали подзатыльники, чтобы они успокоились, и начинался скользящий и медленный танец.

Даже капельмейстер военного оркестра, рыжий чех Коваржик поворачивался лицом к катку, чтобы видеть этот танец. На красном лице капельмейстера (мы называли его «капельдудкиным») бродила сладкая улыбка.

Длинные косы Весницкой разлетались в такт вальсу. Они ей мешали, и она, не переставая танцевать, перекидывала их к себе на грудь. Она надменно смотрела из-под полуопущенных век на восхищенных зрителей.

Я со злорадством следил за Борей. Он танцевал хуже Катюши. Иногда он даже поскальзывался на своих хваленых

коньках «яхт-клуб».

Мог ли я думать тогда на катке, что жизнь Весницкой окажется гораздо неожиданнее всех моих фантазий.

В Пажеском корпусе в Петербурге воспитывался один из сыновей сиамского короля Чакрабон. Во время возвращения на родину принц заболел в дороге около Киева воспалением легких. Путешествие было прервано. Принца привезли в Киев, поместили в царский дворец и окружили заботами киевских докторов.

Принц выздоровел. Но прежде чем продолжать путешествие в Сиам, ему надо было отдохнуть и поправиться. Принц прожил в Киеве два месяца. Ему было скучно. Его старались развлекать – возили на балы в Купеческое собрание, на лотереи-аллегри, в цирк и театры.

На одном балу желтолицый принц увидел Весницкую. Она танцевала вальс, так же как на катке, перекинув косы себе на грудь и надменно поглядывая из-под полуопущенных век синими глазами. Принц был очарован. Маленький, раскосый, с блестящими, как вакса, волосами, он влюбился в Катюшу. Он уехал в Сиам, но вскоре вернулся в Киев инкогнито и предложил Катюше стать его женой. Она согласилась.

Смятение охватило киевских гимназисток. Все в один голос говорили, что на ее месте они бы ни за что не могли выйти замуж за азиата, хотя бы и сына короля.

Катюша уехала в Сиам. Сиамский король вскоре умер от какой-то тропической болезни. Вслед за ним умер от той же

болезни первый наследный принц.

Муж Катюши был вторым сыном короля. У него было очень мало надежды на сиамский престол. Но после смерти брата он оказался единственным наследником и неожиданно стал королем. Так веселая киевская гимназистка Весницкая сделалась сиамской королевой.

Придворные ненавидели королеву-иностранку. Ее существование нарушало традиции сиамского двора.

В Бангкоке по требованию Катюши провели электрическое освещение. Это переполнило чашу ненависти придворных. Они решили отравить королеву, поправшую древние привычки народа. В пищу королеве начали постепенно подсыпать истертое в тончайший порошок стекло от разбитых электрических лампочек. Через полгода она умерла от кровотечения в кишечнике.

На могиле ее король поставил памятник. Высокий слон из черного мрамора с золотой короной на голове стоял, печально опустив хобот, в густой траве, доходившей ему до колен. Под этой травой лежала Катюша Весницкая – молодая королева Сиама.

С тех пор каждый раз, когда я попадал на каток, я вспоминал Катюшу и капельмейстера, игравшего вальс «Невозвратное лето», и как она стряхивала варежкой снег со своего лба и бровей, и ее коньки из синей стали – коньки из города Галифакса. В нем жили простодушные отставные моряки. Вот рассказать бы этим старикам историю Весницкой. Сна-

чала они открыли бы от изумления рты, потом покраснели бы от гнева на придворных и долго бы качали головами, сокрушаясь над превратностью человеческой судьбы.

Зимой меня водили в театры.

Первая пьеса, которую я увидел, была «Штурм Измаила». Мне она не понравилась, потому что я заметил у кулисы человека в очках и потертых бархатных брюках. Он стоял рядом с Суворовым, потом сильно толкнул Суворова в спину, тот вприпрыжку вылетел на сцену и запел петухом.

Но зато вторая пьеса, «Принцесса Греза» Ростана, меня ошеломила. Там было все, чтобы потрясти мое воображение: палуба корабля, огромные паруса, трубадуры, рыцари, принцесса.

Я полюбил драматический Соловцовский театр, его голубую бархатную обивку и маленькие ложи. После спектакля меня нельзя было увести из театра никакими силами, пока не гасили свет. Темнота театрального зала, запах духов и апельсиновых корок – все это казалось мне настолько заманчивым, что я мечтал спрятаться под креслом и провести всю ночь в пустом театре.

В детстве я не мог отделить театральное зрелище от действительности и по-настоящему мучился и даже болел после каждого спектакля.

Моя страсть к чтению усилилась после театра. Стоило мне посмотреть хотя бы «Мадам Сан-Жен», и я начинал с жадностью перечитывать все книги о Наполеоне. Эпохи и люди,

увиденные в театре, оживали чудесным образом и наполнялись необыкновенным интересом и прелестью.

Я полюбил не только самые спектакли. Мне нравились театральные коридоры с зеркалами в тусклых золотых рамах, темные вешалки, где пахло мехом от шуб, перламутровые бинокли, топот застоявшихся лошадей у театрального подъезда.

В антрактах я бегал в конец коридора и смотрел через окно наружу. Там лежала крошечная тьма. Только снег белел на деревьях. Я быстро оборачивался и видел свет нарядного зала, люстры, блеск женских волос, браслетов, серег и бархатный театральный занавес. В антрактах занавес качало теплым ветром. Я повторял это занятие по нескольку раз – то смотрел в окно, то на зал, – и оно мне очень нравилось.

Оперу я не любил. Очевидно, потому, что первой оперой, которую мне показали, был «Демон» Рубинштейна. Жирный, с нахальным и брыластым лицом актер лениво и как-то вразвалку пел Демона. Он играл почти без грима. Было смешно, что на этого солидного человека с брюшком надели длинную черную рубаху из кисеи, обшитую блестками, и привязали к спине крылья. Актер сильно картавил, и когда он пел «Проклятый мир, презренный мир», я не мог удержаться от смеха. Мама была возмущена и перестала водить меня в оперу.

Каждую зиму к нам приезжала из Городища тетя Дозя. Мама любила водить ее в театр.

Перед этим тетя Дозя плохо спала ночь. За несколько часов до спектакля она уже надевала широкое шумящее платье из коричневого атласа, вытканное желтыми цветами и листьями, накидывала коричневую шаль на шею, зажимала в руке кружевной платочек и потом, помолодевшая на десять лет и немного испуганная, ехала на извозчике с мамой в театр. Голову тетя Дозя повязывала, как все украинские бабы, черным платком с маленькими розами.

В театре все смотрели на тетю Дозю, но она так была увлечена спектаклем, что ни на кого не обращала внимания.

Возили ее главным образом на украинские пьесы – «Наталка Полтавка», «Запорожец за Дунаем» и «Шельменко-денщик». Один раз среди действия тетя Дозя вскочила и крикнула по-украински театральному злодею:

– Что же ты делаешь, подлюга, бесстыжие твои глаза!

Публика неистово хохотала. Дали занавес. Тетя Дозя проплакала весь следующий день от стыда, просила у отца прощения, и мы не знали, как ее успокоить.

С тетей Дозей мы впервые ходили в кино. Тогда кино называли «иллюзионом» или «синематографом Люмьера».

Первый сеанс был устроен в Оперном театре. Отец был в восхищении от иллюзиона и приветствовал его как одно из великолепных новшеств двадцатого века.

На сцене натянули серое мокрое полотно. Потом погасили люстры. По полотну замигал зловещий зеленоватый свет и забегали черные пятна. Прямо над нашими головами стру-

ился дымный луч света. Он страшно шипел, будто у нас за спиной жарили целого вепря. Тетушка Дозя спросила маму:

– Почему он так скворчит, этот иллюзион? Мы от него не сторим, как в курятнике?

После долгого мигания на полотне появилась надпись. «Извержение на острове Мартинике. Видовая картина».

Экран задрожал, и на нем, как бы сквозь ливень пыли, возникла огнедышащая гора. Из недр ее лилась горящая лава. Зрительный зал зашумел, потрясенный этим зрелищем.

После видовой показывали комическую картину из жизни французской казармы. Барабанщик бил в барабан, солдаты просыпались, вскакивали, натягивали брюки. Из штанины у одного солдата вываливалась большая крыса. Она бегала по казарме, а солдаты в ужасе, неправдоподобно тараща глаза, лезли на койки, на двери и окна. На этом картина кончалась.

– Балаган! – сказала мама. – Только с той разницей, что на Контрактовой ярмарке балаганы гораздо интереснее.

Отец заметил, что точно так же недалёковидные люди смеялись над паровозом Стефенсона, а тетушка Дозя, стараясь примирить отца с мамой, сказала:

– Бог с ним, с иллюзионом! Не нашего это женского ума дело.

На Контрактовой ярмарке балаганы действительно были интересные. Мы любили эту ярмарку и с нетерпением ждали всю зиму, когда она откроется.

Открывалась она в конце зимы в старинном Контракто-

вом доме на Подоле и в дощатых палатках вокруг этого дома.

Обычно ко дню ее открытия наступала распутица. Острые запахи ярмарочных товаров были слышны издалека. Пахло новыми бочками, кожей, пряниками и коленкором.

Мне нравились на ярмарке карусели, игрушки и паноптикум.

Маслянистые глыбы белой и шоколадной халвы хрустели под ножами продавцов. Прозрачный розовый и лимонный рахат-лукум заклеивал рот. На огромных глиняных блюдах были навалены пирамиды засахаренных груш, слив и вишен – изделия знаменитого киевского кондитера Балабухи.

На разостланных в грязи рогожах стояли рядами грубо вырезанные из дерева и раскрашенные липкой краской солдатики – казаки в папах и шароварах с малиновыми лампасами, барабанщики со зверски выпученными глазами и трубачи с пышными кистями на трубах. Кучами были свалены глиняные свистульки.

Веселые старики толкались в толпе, выхваляя «тещины языки» и «морского жителя». Это была заманчивая игрушка. В стеклянной узкой банке нырял и переворачивался в воде черный мохнатый чертик.

Множество звуков оглушало нас – выкрики продавцов, лязг кованых дрог, великопостный звон из Братского монастыря, писк резиновых чертиков, свист свистуллек и вопли мальчишек на карусели.

За приплату карусель вертели так быстро, что все пре-

вращалось в пеструю смесь оскаленных лошадиных морд из папье-маше, галстуков, сапог, вздувшихся юбок, разноцветных подвязок, кружев, платков. Иногда в лицо зрителям летели, как пули, стеклянные бусы от чьего-нибудь разорванного стремительным вращением мониста.

Паноптикума я побаивался, особенно восковых фигур.

Убитый французский президент Карно лежал, улыбаясь, на полу во фраке со звездой. Неестественно густая кровь, похожая на красный вазелин, стекала у него по пластрону. Казалось, Карно был доволен, что умер так эффектно.

Восковая царица Клеопатра прижимала к твердой зеленоватой груди черную змею.

Русалка с лиловыми глазами лежала в цинковой ванне. В грязной чешуе русалки отражалась тусклая электрическая лампочка. Вода в ванне была мутная.

В открытом сундуке, обтянутом проволочной сеткой, среди ватных одеял спал удав. Он изредка перебирал мускулами, и зрители шарахались.

Чучело гориллы, окруженное листвой из крашеных стружек, уносило в лесную чащу бесчувственную девушку с распущенными золотыми волосами.

Каждый желающий мог за три копейки выстрелить в эту гориллу из монтекристо и спасти девушку. Если он попадал в кружок на груди у обезьяны, она роняла тряпичную девушку на пол. От девушки густо подымалась пыль.

После этого гориллу на минуту задерживали ситцевой за-

навеской, и потом она опять появлялась, все так же свирепо  
уволакивая девушку в те же самые выцветшие лесные чащи.

Мы любили Контрактную ярмарку еще и за то, что она  
предвещала близкую пасху, поездку к бабушке в Черкасы,  
а потом – всегда прекрасную и необыкновенную киевскую  
нашу весну.

# Гардемарин

Весна в Киеве начиналась с разлива Днепра. Стоило только выйти из города на Владимирскую горку, и тотчас перед глазами распахивалось голубоватое море.

Но, кроме разлива Днепра, в Киеве начинался и другой разлив – солнечного сияния, свежести, теплого и душистого ветра.

На Бибиковском бульваре распускались клейкие пирамидальные тополя. Они наполняли окрестные улицы запахом ладана. Каштаны выбрасывали первые листья – прозрачные, измятые, покрытые рыжеватым пухом.

Когда на каштанах расцветали желтые и розовые свечи, весна достигала разгара. Из вековых садов вливались в улицы волны прохлады, сыроватое дыхание молодой травы, шум недавно распустившихся листьев.

Гусеницы ползали по тротуарам даже на Крещатике. Ветер сдувал в кучи высохшие лепестки. Майские жуки и бабочки залетали в вагоны трамваев. По ночам в палисадниках пели соловьи. Тополевый пух, как черноморская пена, накатывался прибоем на панели. По краям мостовых желтели одуванчики.

Над открытыми настежь окнами кондитерской и кофеен натягивали полосатые тенты от солнца. Сирень, обрызганная водой, стояла на ресторанных столиках. Молодые киевлянки

искали в гроздьях сирени цветы из пяти лепестков. Их лица под соломенными летними шляпками приобретали желтоватый матовый цвет.

Наступало время киевских садов. Весной я все дни напролет пропадал в садах. Я играл там, учил уроки, читал. Домой приходил только обедать и ночевать.

Я знал каждый уголок огромного Ботанического сада с его оврагами, прудом и густой тенью столетних липовых аллей.

Но больше всего я любил Мариинский парк в Липках около дворца. Он нависал над Днепром. Стены лиловой и белой сирени высотой в три человеческих роста звенели и качались от множества пчел. Среди лужаек били фонтаны.

Широкий пояс садов тянулся над красными глинистыми обрывами Днепра – Мариинский и Дворцовый парки, Царский и Купеческий сады. Из Купеческого сада открывался прославленный вид на Подол. Киевляне очень гордились этим видом. В Купеческом саду все лето играл симфонический оркестр. Ничто не мешало слушать музыку, кроме протяжных пароходных гудков, доносившихся с Днепра.

Последним садом на днепровском берегу была Владимирская горка. Там стоял памятник князю Владимиру с большим бронзовым крестом в руке. В крест ввинтили электрические лампочки. По вечерам их зажигали, и огненный крест висел высоко в небе над киевскими кручами.

Город был так хорош весной, что я не понимал маминого пристрастия к обязательным воскресным поездкам в дачные

места – Боярку, Пущу Водицу или Дарницу. Я скучал среди однообразных дачных участков Пущи Водицы, равнодушно смотрел в боярском лесу на чахлую аллею поэта Надсона и не любил Дарницу за вытоптанную землю около сосен и сыпучий песок, перемешанный с окурками.

Однажды весной я сидел в Мариинском парке и читал «Остров сокровищ» Стивенсона. Сестра Галя сидела рядом и тоже читала. Ее летняя шляпа с зелеными лентами лежала на скамейке. Ветер шевелил ленты.

Галя была близорукая, очень доверчивая, и вывести ее из добродушного состояния было почти невозможно.

Утром прошел дождь, но сейчас над нами блистало чистое небо весны. Только с сирени слетали запоздалые капли дождя.

Девочка с бантами в волосах остановилась против нас и начала прыгать через веревочку. Она мне мешала читать. Я потряс сирень. Маленький дождь шумно посыпался на девочку и на Галю. Девочка показала мне язык и убежала, а Галя стряхнула с книги капли дождя и продолжала читать.

И вот в эту минуту я увидел человека, который надолго отравил меня мечтами о несбыточном моем будущем.

По аллее легко шел высокий гардемарин с загорелым спокойным лицом. Прямой черный палаш висел у него на лакированном поясе. Черные ленточки с бронзовыми якорями развевались от тихого ветра. Он был весь в черном. Только яркое золото нашивок оттеняло его строгую форму.

В сухопутном Киеве, где мы почти не видели моряков, это был пришелец из далекого легендарного мира крылатых кораблей, фрегата «Паллада», из мира всех океанов, морей, всех портовых городов, всех ветров и всех очарований, какие связаны были с живописным трудом мореплавателей. Старинный палаш с черным эфесом как будто появился в Мариинском парке прямо со страниц Стивенсона.

Гардемарин прошел мимо, хрустя по песку. Я поднялся и пошел за ним. Галя по близорукости не заметила моего исчезновения.

Вся моя мечта о море воплотилась в этом человеке. Я часто воображал себе моря, туманные и золотые от вечернего штиля, далекие плаванья, когда весь мир сменяется, как быстрый калейдоскоп, за стеклами иллюминатора. Боже мой, если бы кто-нибудь догадался подарить мне хотя бы кусок окаменелой ржавчины, отбитой от старого якоря! Я бы хранил его, как драгоценность.

Гардемарин оглянулся. На черной ленточке его бескозырки я прочел загадочное слово: «Азимут». Позже я узнал, что так назывался учебный корабль Балтийского флота.

Я шел за ним по Елизаветинской улице, потом по Институтской и Николаевской. Гардемарин изящно и небрежно отдавал честь пехотным офицерам. Мне было стыдно перед ним за этих мешковатых киевских вояк.

Несколько раз гардемарин оглядывался, а на углу Меринговской остановился и подозвал меня.

– Мальчик, – спросил он насмешливо, – почему вы тащитесь за мной на буксире?

Я покраснел и ничего не ответил.

– Все ясно: он мечтает быть моряком, – догадался гардемарин, говоря почему-то обо мне в третьем лице.

– Я близорукий, – ответил я упавшим голосом.

Гардемарин положил мне на плечо худую руку:

– Дойдем до Крещатика.

Мы пошли рядом. Я боялся поднять глаза и видел только начищенные до невероятного блеска крепкие ботинки гардемарина.

На Крещатике гардемарин зашел со мной в кофейную Семадени, заказал две порции фисташкового мороженого и два стакана воды. Нам подали мороженое на маленький трехногий столик из мрамора. Он был очень холодный и весь исписан цифрами: у Семадени собирались биржевые дельцы и подсчитывали на столиках свои прибыли и убытки.

Мы молча съели мороженое. Гардемарин достал из бумажника фотографию великолепного корвета с парусной оснасткой и широкой трубой и протянул мне:

– Возьмите на память. Это мой корабль. Я ходил на нем в Ливерпуль.

Он крепко пожал мне руку и ушел. Я посидел еще немного, пока на меня не начали оглядываться потные соседи в канотье. Тогда я неловко вышел и побежал в Мариинский парк. Скамейка была пуста. Галя ушла. Я догадался, что гар-

демарин меня пожалел, и впервые узнал, что жалость оставляет в душе горький осадок.

После этой встречи желание сделаться моряком мучило меня много лет. Я рвался к морю. Первый раз я видел его мельком в Новороссийске, куда ездил на несколько дней с отцом. Но этого было, конечно, недостаточно.

Часами я просиживал над Атласом, рассматривал побережья океанов, выискивал неизвестные приморские городки, мысы, острова, устья рек.

Я придумал сложную игру. Я составил длинный список пароходов со звучными именами: «Полярная звезда», «Вальтер Скотт», «Хинган», «Сириус». Список этот разбухал с каждым днем. Я был владельцем самого большого флота в мире.

Конечно, я сидел у себя в пароходной конторе, в дыму сигар, среди пестрых плакатов и расписаний. Широкие окна выходили, естественно, на набережную. Желтые мачты пароходов торчали около самых окон, а за стенами шумели добродушные вязаы. Пароходный дым развязно влетал в окна, смешиваясь с запахом гнилого рассола и новеньких, веселых рогож.

Я придумал для своих пароходов список удивительнейших рейсов. Не было самого забытого уголка земли, куда бы они не заходили. Они посещали даже остров Тристан д'Аку-ню.

Я снимал пароходы с одного рейса и посылал в другой.

Я следил за плаванием своих кораблей и безошибочно знал, где находится сегодня «Адмирал Истомин», а где – «Летучий голландец»: «Истомин» грузит бананы в Сингапуре, а «Летучий голландец» разгружает муку на Фаррерских островах.

Для того чтобы руководить таким обширным пароходным предприятием, мне понадобилось много знаний. Я зачитывался путеводителями, судовыми справочниками и всем, что имело хотя бы отдаленное касательство к морю.

Тогда впервые я услышал от мамы слово «менингит».

– Он дойдет бог знает до чего со своими играми, – сказала однажды мама. – Как бы все это не кончилось менингитом.

Я слышал, что менингит – это болезнь мальчиков, которые слишком рано научились читать. Поэтому я только усмехнулся на мамины страхи.

Все окончилось тем, что родители решили поехать всей семьей на лето к морю.

Теперь я догадываюсь, что мама надеялась вылечить меня этой поездкой от чрезмерного увлечения морем. Она думала, что я буду, как это обычно случается, разочарован от непосредственного столкновения с тем, к чему я так страстно стремился в мечтах. И она была права, но только отчасти.

# Как выглядит рай

Однажды мама торжественно объявила, что на днях мы на все лето уезжаем на Черное море, в маленький городок Геленджик, вблизи Новороссийска.

Нельзя было, пожалуй, выбрать лучшего места, чем Геленджик, для того, чтобы разочаровать меня в моем увлечении морем и югом.

Геленджик был тогда очень пыльным и жарким городком без всякой растительности. Вся зелень на много километров вокруг была уничтожена жестокими новороссийскими ветрами – норд-остами. Только колючие кусты держидерева и чахлая акация с желтыми сухими цветочками росли в палисадниках. От высоких гор тянуло зноем. В конце бухты дымил цементный завод.

Но геленджикская бухта была очень хороша. В прозрачной и теплой ее воде плавали, как розовые и голубые цветы, большие медузы. На песчаном дне лежали пятнистые камбалы и пучеглазые бычки. Прибой выбрасывал на берег красные водоросли, гнилые поплавки-балберки от рыбачьих сетей и обкатанные волнами куски темно-зеленых бутылок.

Море после Геленджика не потеряло для меня своей прелести. Оно сделалось только более простым и тем самым более прекрасным, чем в моих нарядных мечтах.

В Геленджике я подружился с пожилым лодочником Ана-

стасом. Он был грек, родом из города Воло. У него была новая парусная шлюпка, белая с красным килем и вымытым до седины решетчатым настилом.

Анастас катал на шлюпке дачников. Он славился ловкостью и хладнокровием, и мама иногда отпускала меня одного с Анастасом.

Однажды Анастас вышел со мной из бухты в открытое море. Я никогда не забуду того ужаса и восторга, какие я испытал, когда парус, надувшись, накренил шлюпку так низко, что вода понеслась на уровне борта. Шумящие огромные валы покатались навстречу, просвечивая зеленью и обдавая лицо соленой пылью.

Я схватился за ванты, мне хотелось обратно на берег, но Анастас, зажав трубку зубами, что-то мурлыкал, а потом спросил:

– Почему твоя мама отдала за эти чувяки? Ай, хороши чувяки!

Он кивнул на мои мягкие кавказские туфли – чувяки. Ноги мои дрожали. Я ничего не ответил. Анастас зевнул и сказал:

– Ничего! Маленький душ, теплый душ. Обедать будешь с аппетитом. Не надо будет просить – скушай за папу-маму!

Он небрежно и уверенно повернул шлюпку. Она зачерпнула воду, и мы помчались в бухту, ныряя и выскакивая на гребни волн. Они уходили из-под кормы с грозным шумом. Сердце у меня падало и обмирало.

Неожиданно Анастас запел. Я перестал дрожать и с недоумением слушал эту песню:

От Батума до Сухума —

Ай-вай-вай!

От Сухума до Батума —

Ай-вай-вай!

Бежал мальчик, тащил ящик —

Ай-вай-вай!

Упал мальчик, разбил ящик —

Ай-вай-вай!

Под эту песню мы спустили парус и с разгона быстро подошли к пристани, где ждала бледная мама. Анастас поднял меня на руки, поставил на пристань и сказал:

– Теперь он у вас соленый, мадам. Уже имеет к морю привычку.

Однажды отец нанял линейку, и мы поехали из Геленджика на Михайловский перевал.

Сначала щебенчатая дорога шла по склону голых и пыльных гор. Мы проезжали мосты через овраги, где не было ни капли воды. На горах весь день лежали, зацепившись за вершины, одни и те же облака из серой сухой ваты.

Мне хотелось пить. Рыжий извозчик-казак оборачивался и говорил, чтобы я повременил до перевала, – там я напьюсь

вкусной и холодной воды. Но я не верил извозчику. Сухость гор и отсутствие воды пугали меня. Я с тоской смотрел на темную и свежую полоску моря. Из него нельзя было напиться, но, по крайней мере, можно было выкупаться в его прохладной воде.

Дорога подымалась все выше. Вдруг в лицо нам потянуло свежестью.

– Самый перевал! – сказал извозчик, остановил лошадей, слез и подложил под колеса железные тормоза.

С гребня горы мы увидели огромные и густые леса. Они волнами тянулись по горам до горизонта. Кое-где из зелени торчали красные гранитные утесы, а вдали я увидел вершину, горевшую льдом и снегом.

– Норд-ост сюда не достигает, – сказал извозчик. – Тут рай!

Линейка начала спускаться. Тотчас густая тень накрыла нас. Мы слышали в непролазной чаще деревьев журчание воды, свист птиц и шелест листвы, взволнованной полуденным ветром.

Чем ниже мы спускались, тем гуще делался лес и тенистее дорога. Прозрачный ручей уже бежал по ее обочине. Он перемывал разноцветные камни, задевал своей струей лиловые цветы и заставлял их кланяться и дрожать, но не мог оторвать от каменистой земли и унести с собою вниз, в ущелье.

Мама набрала воды из ручья в кружку и дала мне напиться. Вода была такая холодная, что кружка тотчас покрылась

ПОТОМ.

– Пахнет озоном, – сказал отец.

Я глубоко вздохнул. Я не знал, чем пахло вокруг, но мне казалось, что меня завалили ворохом веток, смоченных душистым дождем.

Лианы цеплялись за наши головы. И то тут, то там на откосах дороги высовывался из-за камня какой-нибудь мохнатый цветок и с любопытством смотрел на нашу линейку и на серых лошадей, задравших головы и выступавших торжественно, как на параде, чтобы не сорваться вскачь и не раскатить линейку.

– Вон ящерица! – сказала мама.

– Где?

– Вон там. Видишь орешник? А налево – красный камень в траве. Смотри выше. Видишь желтый венчик? Это азалия. Чуть правее азалии, на поваленном буке, около самого корня. Вон, видишь такой мохнатый рыжий корень в сухой земле и каких-то крошечных синих цветах? Так вот рядом с ним.

Я увидел ящерицу. Но пока я ее нашел, я проделал чудесное путешествие по орешнику, красному камню, цветку азалии и поваленному буку.

«Так вот он какой, Кавказ!» – подумал я.

– Тут рай! – повторил извозчик, сворачивая с шоссе на травянистую узкую просеку в лесу. – Сейчас распряжем коней, будем купаться.

Мы въехали в такую чащу и ветки так били нас по лицу, что пришлось остановить лошадей, слезть с линейки и идти дальше пешком. Линейка медленно ехала следом за нами.

Мы вышли на поляну в зеленом ущелье. Как белые острова, стояли в сочной траве толпы высоких одуванчиков. Под густыми буками мы увидели старый пустой сарай. Он стоял на берегу шумной горной речонки. Она туго переливала через камни прозрачную воду, шипела и увлакивала вместе с водой множество воздушных пузырей.

Пока извозчик распрягал лошадей и ходил с отцом за хвостом для костра, мы умылись в реке. Лица наши после умывания горели жаром.

Мы хотели тотчас идти вверх по реке, но мама расстелила на траве скатерть, достала провизию и сказала, что, пока мы не поедем, она никуда нас не пустит.

Я, давясь, съел бутерброды с ветчиной и холодную рисовую кашу с изюмом, но оказалось, что я совершенно напрасно торопился – упрямый медный чайник никак не хотел закипать на костре. Должно быть, потому, что вода из речушки была совершенно ледяная.

Потом чайник вскипел так неожиданно и бурно, что залил костер. Мы напились крепкого чая и начали торопить отца, чтобы идти в лес. Извозчик сказал, что надо быть настороже, потому что в лесу много диких кабанов. Он объяснил нам, что если мы увидим вырытые в земле маленькие ямы, то это и есть места, где кабаны спят по ночам.

Мама заволновалась – идти с нами она не могла, у нее была одышка, – но извозчик успокоил ее, заметив, что кабана нужно нарочно раздражить, чтобы он бросился на человека.

Мы ушли вверх по реке. Мы продирались сквозь чащу, поминутно останавливались и звали друг друга, чтобы показать гранитные бассейны, выбитые рекой, – в них синими искрами проносилась форель, – огромных зеленых жуков с длинными усами, пенистые ворчливые водопады, хвои выше нашего роста, заросли лесной анемоны и полянки с пионами.

Боря наткнулся на маленькую пыльную яму, похожую на детскую ванну. Мы осторожно обошли ее. Очевидно, это было место ночевки дикого кабана.

Отец ушел вперед. Он начал звать нас. Мы пробрались к нему сквозь крушину, обходя огромные мшистые валуны.

Отец стоял около странного сооружения, заросшего ежевикой. Четыре гладко обтесанных исполинских камня были накрыты, как крышей, пятым обтесанным камнем. Получался каменный дом. В одном из боковых камней было пробито отверстие, но такое маленькое, что даже я не мог в него пролезть. Вокруг было несколько таких каменных построек.

– Это долмены, – сказал отец. – Древние могильники скифов. А может быть, это вовсе и не могильники. До сих пор ученые не могут узнать, кто, для чего и как строил эти долмены.

Я был уверен, что долмены – это жилища давно вымерших

карликовых людей. Но я не сказал об этом отцу, так как с нами был Боря: он поднял бы меня на смех.

В Геленджик мы возвращались совершенно сожженные солнцем, пьяные от усталости и лесного воздуха. Я уснул и сквозь сон почувствовал, как на меня дохнуло жаром, и услышал отдаленный ропот моря.

С тех пор я сделался в своем воображении владельцем еще одной великолепной страны – Кавказа. Началось увлечение Лермонтовым, абреками, Шамилем. Мама опять встревожилась.

Сейчас, в зрелом возрасте, я с благодарностью вспоминаю о детских своих увлечениях. Они научили меня многому.

Но я был совсем не похож на захлебывающихся слюной от волнения шумных и увлекающихся мальчиков, никому не дающих покоя. Наоборот, я был очень застенчивый и со своими увлечениями ни к кому не приставал.

# Брянские леса

Осенью 1902 года я должен был поступить в подготовительный класс Первой киевской гимназии. В ней учился мой средний брат, Вадим. После его рассказов я начал бояться гимназии, иногда даже плакал и просил маму оставить меня дома.

– Неужели ты хочешь быть экстерном? – испуганно спрашивала мама.

Экстернами назывались те мальчики, что учились дома и только каждый год сдавали экзамены при гимназии.

Со слов братьев я хорошо представлял себе кошмарную судьбу этих экстернов. Их нарочно проваливали на экзаменах, всячески издевались над ними, требовали от них гораздо больше знаний, чем от обыкновенных гимназистов. Ниоткуда экстернам не было помощи. Им даже не подсказывали.

Я представлял себе этих истощенных от зубрежки, заплаканных мальчиков с красными от волнения, оттопыренными ушами. Зрелище было жалкое. Я сдавался и говорил:

– Ну хорошо, я не буду экстерном.

– Кисейная барышня! – кричал из своей комнаты Боря. – Нюня!

– Не смей его обижать! – вскипала мама.

Она считала Борю бессердечным и все удивлялась, откуда у него такой черствый характер. Очевидно, от бабки-тур-

чанки. Вся остальная наша семья отличалась необыкновенной отзывчивостью, привязчивостью к людям и непрактичностью.

Отец знал о моих страхах, слезах и волнениях и нашел, как всегда, неожиданное лекарство от этих бед. Он решил после легкой стычки с мамой отправить меня одного к моему дяде, маминому брату Николаю Григорьевичу.

Это был тот самый веселый юнкер, дядя Коля, что приехал к бабушке в Черкассы из Петербурга и любил танцевать вальс с тетей Надей. Сейчас он уже сделался военным инженером, женился и служил в городе Брянске Орловской губернии, на старинном артиллерийском лафетном заводе. Завод этот назывался арсеналом.

На лето дядя Коля снял дачу около Брянска, в старом, запущенном имении Рёвны в Брянских лесах, и звал нас всех приехать туда же. Родители согласились. Но они не могли уехать раньше, чем у сестры и братьев окончатся экзамены. Меня послали вперед одного.

– Пусть привыкает, – сказал отец. – Это полезно для таких стеснительных мальчиков.

Отец написал дяде Коле письмо. Что он в нем писал, я не знаю. Мама, украдкой вытирая слезы, сложила мне маленький чемодан, где ничего не было забыто и лежала записка со всякими наставлениями.

Мне взяли билет во втором классе до станции Синезерки. Дядина дача была в десяти верстах от этой станции.

На вокзал меня провожали все, даже Боря. Отец о чем-то поговорил с седоусым проводником и дал ему денег.

– Довезу, как пушинку, – сказал проводник маме. – Не извольте волноваться, сударыня.

Мама попросила соседей по купе присматривать за мной и не позволять мне выходить на станциях. Соседи охотно согласились. Я очень стеснялся и осторожно тянул маму за рукав.

После второго звонка все расцеловали меня, даже Боря, хотя он тут же, незаметно для остальных, дал мне так называемую «грушу» – больно ковырнул меня большим пальцем по макушке.

Все вышли из вагона на платформу. Но мама все не могла уйти. Она держала меня за руки и говорила:

– Будь хорошим. Слышишь? Будь умным мальчиком. И очень осторожным.

Она смотрела на меня испытующими глазами. Пробил третий звонок. Она обняла меня и быстро, шурша платьем, пошла к выходу. Она соскочила почти на ходу. Отец подхватил ее и покачал головой.

Я стоял у закрытого окна, смотрел, как мама впереди всех быстро шла по платформе, и только сейчас увидел, какая она красивая, маленькая, ласковая. Мои слезы капали на пыльную раму.

Я долго смотрел в окно, хотя уже не видно было ни мамы, ни платформы, а за окном проносились товарные пути,

крикливые маневровые паровозы и проплывал, как бы вращаясь, готический новый костел на Васильковской улице. Я боялся оглянуться, чтобы соседи по купе не заметили моих заплаканных глаз. Потом я вспомнил, что дяде Коле послали телеграмму о моем приезде. Легкая гордость оттого, что обо мне послали настоящую телеграмму, немного успокоила меня, и я обернулся.

Купе было обито красным бархатом. В нем было тесно и уютно. Пыльные зайчики от солнца все сразу, будто по команде, начинали быстро переползать из одного угла купе в другой, а потом так же быстро ползли обратно – поезд вырывался из путаницы киевских предместий и шел по закруглениям.

Меня устроили в дамское купе. На этом настояла мама. Я осторожно осмотрел своих спутниц. Одна из них, черная, сухая француженка, быстро закивала мне, улыбнулась, показав лошадиные зубы, и протянула коробку с мармеладом. Я не знал, что делать, но поблагодарил и взял мармелад, испачкав руки.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.